Под редакцией Т. Ф. Курдюмовой

ЛИТЕРАТУРА

Часть II

9

ДРОФА

ВЕРТИКАЛЬ

Электронное приложение
www.drofa.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Данный учебник-хрестоматия входит в УМК по литературе для 5—11 классов, созданный по единой программе литературного образования, составленной Т. Ф. Курдюмовой, и завершает этап литературного образования школьников.

Учебник-хрестоматия соответствует ФГОС основного общего образования, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включён в Федеральный перечень учебников.

- Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия. В двух частях. Часть II
  - Литература XIX века
    -
    - Николай Алексеевич Некрасов
      -
      - Родина
      - Тройка
      - Вчерашний день, часу в шестом…
      - Замолкни, Муза мести и печали…
    - Иван Сергеевич Тургенев
      -
      - Первая любовь. В сокращении
    - Лев Николаевич Толстой
      -
      - Юность. В сокращении
    - Антон Павлович Чехов
      -
      - Человек в футляре. В сокращении
    - О юморе и сатире
  - Литература XX века
    -
    - О русской литературе XX века
      -
      - Иван Алексеевич Бунин
        -
        - Слово
        - Русская сказка
        - Изгнание
        - Жизнь Арсеньева. В сокращении
          - Книга первая
          - Книга вторая
          - Книга третья

- Максим Горький
  -
  - Мои университеты. В сокращении
- Александр Александрович Блок
  -
  - Девушка пела в церковном хоре…
  - Незнакомка
  - О доблестях, о подвигах, о славе…
  - О, я хочу безумно жить…
  - Россия
  - На железной дороге
- Анна Андреевна Ахматова
  -
  - Сжала руки под тёмной вуалью…
  - Песня последней встречи
  - Сероглазый король
  - Он любил три вещи на свете…
  - Уединение
  - Муза
  - Родная земля
- Сергей Александрович Есенин
  -
  - Гой ты, Русь, моя родная…
  - Я покинул родимый дом…
  - Не жалею, не зову, не плачу…
  - Отговорила роща золотая…
  - Низкий дом с голубыми ставнями…
  - Я иду долиной. На затылке кепи…
  - Спит ковыль. Равнина дорогая…
- Владимир Владимирович Маяковский
  -
  - Послушайте!
  - Скрипка и немножко нервно
  - Прозаседавшиеся
- Михаил Афанасьевич Булгаков
  -
  - Собачье сердце. Фрагменты
    -
    - Глава VI
    - Эпилог
- Михаил Александрович Шолохов
  -
  - Судьба человека. В сокращении
- Александр Трифонович Твардовский

- Василий Тёркин. Книга про бойца. В сокращении
- Александр Исаевич Солженицын
  -
  - Как жаль
- Писатели русского зарубежья
  -
  - Владимир Владимирович Набоков
    - Расстрел
    - Родина
  - Георгий Владимирович Иванов
    -
    - Россия счастие, Россия свет…
    - На взятие Берлина русскими
- Русская литература 60–90-х годов XX века
  -
  - Василий Макарович Шукшин
    -
    - Ванька Тепляшин
  - Виктор Петрович Астафьев
    -
    - Царь-рыба. Повествование в рассказах. Фрагменты
  - Валентин Григорьевич Распутин
    -
    - Деньги для Марии. Фрагменты
  - Александр Валентинович Вампилов
    -
    - Старший сын. Фрагменты
      -
      - Действие первое
      - Действие второе
  - Владимир Семёнович Высоцкий
    -
    - Он не вернулся из боя
    - Песня о друге
    - Песня о времени
  - Булат Шалвович Окуджава
    - Мы романтики старой закалки…
    - Письмо к маме
    - Король
    - Песенка об Арбате
  - Евгений Александрович Евтушенко
    -

- Людей неинтересных в мире нет…
- Памяти Ахматовой. В сокращении
- Злорадство

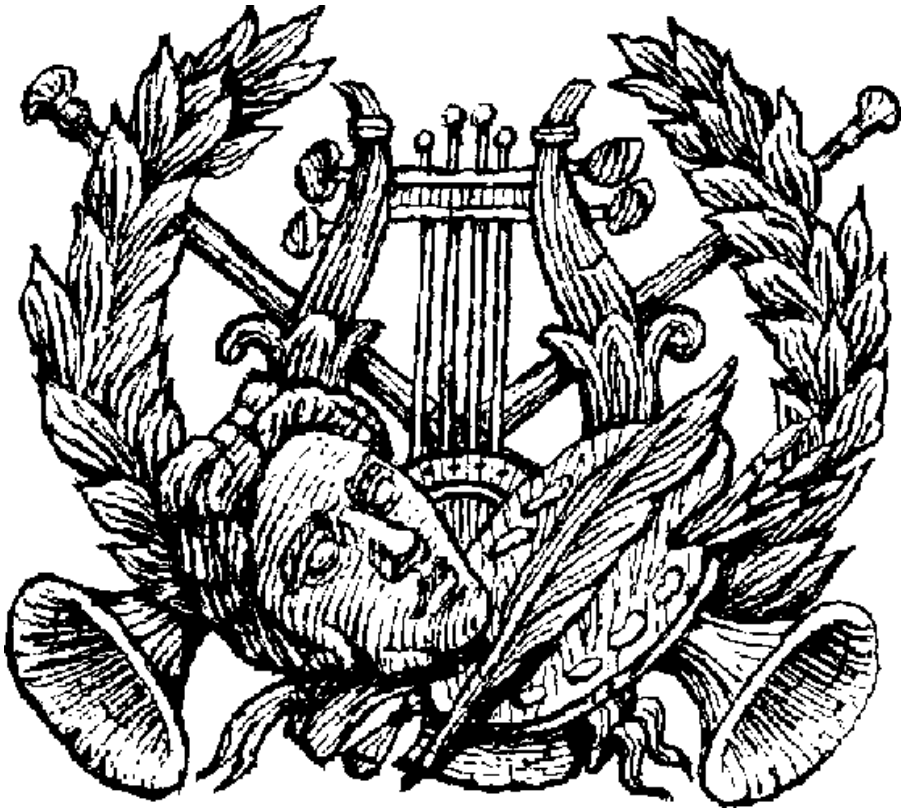
- Андрей Андреевич Вознесенский
  -
  - Русские поэты
  - Реквием
  - Есть русская интеллигенция…
  - Для всех – вне звёзд, вне митр, вне званий…

- Литература народов России
  -
  - Габдулла Тукай
    -
    - Родная деревня
    - Книга
  - Мустай Карим
    -
    - Бессмертие
  - Кайсын Кулиев
    -
    - «Когда на меня навалилась беда…»
    - «Каким бы малым ни был мой народ…»
  - Расул Гамзатов
    -
    - Мой Дагестан
    - «В горах джигиты ссорились, бывало…»
- Зарубежная литература
  -
  - Иоганн Вольфганг Гёте
    -
    - Фауст. Фрагмент
- Подведём итоги
- Рекомендуемые интернет-ресурсы
- Краткий словарь литературоведческих терминов

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия. В двух частях. Часть II (Под редакцией Т. Ф. Курдюмовой)

Литература XIX века

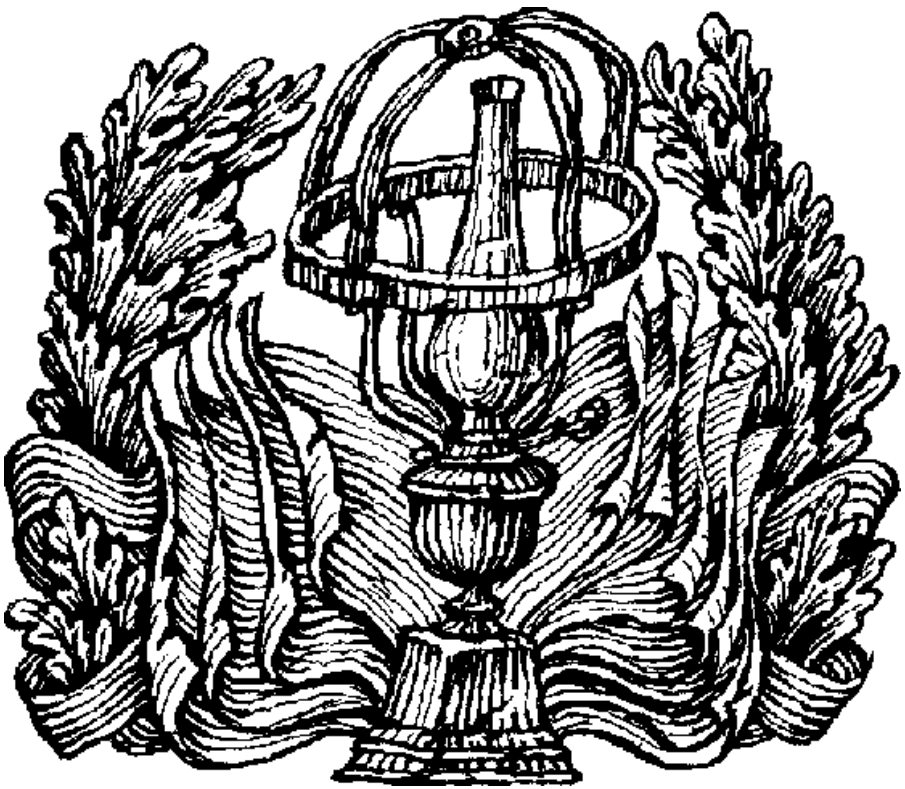


Н. А. Некрасов. И. С. Тургенев. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов.

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878)

Любимейший русский поэт. Представитель добрых начал в нашей поэзии.

Н. А. Добролюбов



Николай Алексеевич Некрасов родился в местечке Немирове Подольской губернии, в семье капитана, бригадного адъютанта Алексея Сергеевича Некрасова и его жены Елены Андреевны, урождённой Закревской. Мальчику не исполнилось и трёх лет, когда отец вышел в отставку и поселился с семьёй в своём родовом поместье – селе Грешневе Ярославской губернии. Здесь, на Волге, прошло детство поэта, полное оскорблений, обид и горя. Отец его, человек крутого нрава и деспотического характера, не щадил ни своих дворовых, крестьян, ни домочадцев. Особенно глубоко страдала горячо любимая мать поэта, женщина

большой души и высокой культуры. «Это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии» (Ф. М. Достоевский).

Очень рано началась тяжёлая борьба за право на самостоятельность. После пяти лет учения Некрасова в Ярославской гимназии отец решил отдать сына в военную школу – Дворянский полк. Но в Петербурге юноша, нарушив волю родителя, стал готовиться в университет. Разгневанный отец лишил его какой бы то ни было поддержки. Будущий великий поэт начал свою петербургскую жизнь без денег, без связей. В университет удалось поступить вольнослушателем, но было не до учения. Некрасов брался за любую работу, ютился в подвалах, углах… и писал.

В 1840 году ему удалось издать первую книгу стихов «Мечты и звуки». Название сборника довольно точно выражает суть включённых в него романтических стихов, далёких от жизни, написанных под влиянием разных поэтов. Книга вызвала несколько полуодобрительных рецензий в журналах и резко отрицательный отзыв Белинского. Сам Некрасов обошёлся со сборником сурово: постарался скупить и уничтожить своё первое поэтическое детище. Поэт не принадлежал к тем, кто входил в литературу легко и сразу.

Начало 40-х годов для Некрасова – время тяжёлого литературного труда: рецензии, фельетоны, комедии и заметки, сказки и водевили. Его талант крепнет, его имя понемногу становится известным в литературных кругах.

Становлению Некрасова как поэта очень способствовало знакомство с Белинским в 1843 году. «Моя встреча с Белинским была для меня спасением», – говорил сам поэт. Сколь многим Некрасов считал себя обязанным этому человеку, видно хотя бы из того, что он позднее постоянно обращался к образу великого критика: в поэмах «Белинский» и «Несчастные», в стихотворении «Памяти Белинского».

Борьба с жизнью и обстоятельствами способствовала становлению характера писателя. В середине 40-х годов Некрасов – уже издатель нескольких альманахов. С 1847 по 1866 год поэт издаёт и редактирует журнал «Современник», основанный А. С. Пушкиным, а с 1868 года и до последних дней – «Отечественные записки». В «Современнике» публиковались Тургенев и Гончаров, Толстой и Островский, Герцен и Григорович, ведущими критиками журнала являлись Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Немало критических статей написано и самим Некрасовым. Становление его поэтического дарования закончилось к середине 40-х годов.

Писатель И. И. Панаев пишет в своих литературных воспоминаниях: «Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником, но когда тот прочёл ему своё стихотворение „На дороге“, у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах: „Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный“».

В 1856 году после семнадцати лет напряжённой работы вышла вторая книга стихотворений Некрасова. Характер книги как целого определялся вступлением, роль которого сыграло стихотворение «Поэт и гражданин». Чернышевский писал Некрасову: «Вы теперь лучшая, можно сказать, единственная прекрасная надежда нашей литературы… Ваши силы огромны».

Сборник 1856 года вышел в то время, когда в стране наступал новый общественный подъём. Одни ждали реформ, другие надеялись на революцию. В связи с этим особенно остро вставал вопрос о народе, его месте, значении, о сути народной жизни.

Особое место в лирике Некрасова занимает образ русской женщины. Даже классический образ Музы под пером Некрасова терял привычную символику, обретая реальные женские черты. Русская женщина является героиней многих стихотворений и поэм Некрасова, таких как «Мороз, Красный нос» – о судьбе русской крестьянки и «Русские женщины» – о подвиге жён декабристов.

Немало стихотворений поэта посвящено детям. Обращение к миру детства очищало душу от горьких впечатлений действительности.

Вершиной эпического творчества Некрасова явилась поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Родина

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;

Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И нребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жёг…
Воспоминания дней юности – известных
Под громким именем роскошных и чудесных, —
Наполнив грудь мою и злобой, и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной…

Вот тёмный, тёмный сад… Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил… о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы…
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И всё, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шёпот твой губителю простил!..

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе, и позор судьбы её ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила…
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом… Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни га́еров, ни слуг, —
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал… Ах, няня! сколько раз
Я слёзы лил о ней в тяжёлый сердцу час;
При имени её впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Её бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,

И грудь моя полна враждой и злостью новой…
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым —
Всему начало здесь, в краю моём родимом!..

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен тёмный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьём,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил…

Тройка

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьётся алая лента игриво
В волосах твоих, чёрных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается лёгкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,

В сердце юноши кинет любовь.

Поживёшь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдёшь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и чёрной и трудной
Отцветёшь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни – появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…

Вчерашний день, часу в шестом…

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из её груди,
Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Замолкни, Муза мести и печали…

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю – и молчу.

К чему хандрить, оплакивать потери?
Когда б хоть легче было от того!
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой тёмный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу тёплого луча…

Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя – во сне и наяву,
В труде, в борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя, – теперь уж не зову!

Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить…
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Вопросы и задания

Какой теме посвящено стихотворение «Тройка»? С каким чувством поэт рассказывает о судьбе женщины?

1. Почему стихотворение «Тройка» называют «песней-романсом»?

2. Прочитайте стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Замолкни, Муза мести и печали!..». Какой образ

Музы возникает в лирике Некрасова?

1. Ф. М. Достоевский отмечал, что «в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим „новым словом“. В этом смысле он… должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым». В чём, на ваш взгляд, заключалось «новое слово» Некрасова?

2. Какие новые темы зазвучали в творчестве поэта?

3. Какие новые герои введены в литературу Некрасовым?

4. К. Чуковский писал: «Природа никогда не существовала для Некрасова сама по себе, безотносительно к человеческим скорбям или радостям… Пейзаж, как всегда у Некрасова, дан в сочетании с людьми». Покажите это на примере стихотворений Некрасова.

5. «После Пушкина и Лермонтова, – отмечал Бунин, – Некрасов не пошёл за ними, а создал свою собственную поэзию, свои ритмы, свои созвучия, свой тон…» Подтвердите это высказывание примерами из текстов стихотворений.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

И. С. Тургенев

С именем Тургенева для русского читателя любого возраста связано представление о классически совершенном языке, о стиле, который принято считать образцовым. Его мастерство сказывается не только в том, что он владеет безукоризненным слогом, но и в том, что он умел быть лаконичным, чётким и ясным, умел сочувственно изобразить горе и радость.

Что же сформировало человека такой душевной отзывчивости?

Иван Сергеевич Тургенев родился в одной из самых богатых на литературные таланты областей России. Спасское-Лутовиново – старинное барское имение в пятидесяти километрах от Орла. Это одно из самых красивых и поэтических мест России.

«Свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актёрами, – всё было в вековом Спасском», – пишет современница. Быт был строго регламентирован. Мать Тургенева Варвара Петровна (прототип барыни из рассказа «Муму») «старалась подражать коронованным особам; крепостные люди её, исполнявшие ту или другую обязанность при ней, назывались не только придворными званьями, но даже фамилиями тех министров, которые занимали соответствующие должности при высочайшем дворе; так, например, дворецкий звался министром двора, и ему была придана фамилия тогдашнего шефа жандармов, генерала Бенкендорфа…».

Сам Тургенев рассказывал одному из знакомых: «Моя матушка была страстная любительница цветов – я нигде не видел таких тюльпанов, как у неё. Но всё это цветоводство сопровождалось самой ужасной жестокостью к садовникам. Их

секли за всё и про всё. Конюшня была близка – я всё слышал. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан. После этого всех садовников пересекли». Будущий писатель рос с чувством протеста против всякой несправедливости, с сознанием необходимости человеческих отношений между людьми.

Тургенев не был идеальным человеком: в молодости ему очень хотелось производить впечатление богатого дворянина, он любил модно одеваться, любил подшутить над друзьями, при этом не всегда безобидно, и всё же это был на редкость мягкий и доброжелательный человек. Умная и наблюдательная мать пользовалась этим свойством сына, которого по-своему, эгоистично, любила и, стремясь добиться подчинения, постоянно угнетала.

Возвратившись на родину после обучения в Германии, Тургенев решил посвятить себя литературе, для этого ему требовалась материальная поддержка матери. Варвара Петровна, хотя и не отрицала увлечения сына, но занятия литературой как профессией признать не могла. Отношения матери и сына кончились разрывом.

«Он умел мастерски скрывать своё положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба», – пишет один из близких друзей Тургенева, П. Анненков.

Человечность Тургенева ярко проявилась после смерти Гоголя. Несмотря на запреты, Иван Сергеевич написал некролог и был посажен под арест. Там, на Сенной площади, был написан рассказ «Муму».

История его творчества охватывает несколько десятилетий. Вершиной считают 1854–1866 годы. Это время создания романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и повестей «Фауст», «Ася», «Первая любовь».

Творческая лаборатория Тургенева очень разнообразна и отражает его внимание к каждому слову и фразе. Об этом красноречиво говорит сам факт существования знаменитого портфеля эскизов, в который он долгие годы складывал самые различные словесные находки, не забывая и о фрагментах собственных писем. Клочки бумаги с различными записями не лежали там без движения – время от времени они включались в текст какого-то художественного произведения. Вот убедительный пример: абзац из письма, которое пролежало в его портфеле довольно долго, вошёл практически целиком в текст романа «Отцы и дети»: Павел Петрович – «…одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда

молодость прошла, а старость ещё не настала».

Для того чтобы в вашей памяти создался сколько-нибудь завершённый облик писателя даже после такого краткого очерка, вспомним один из драматических и трогательных эпизодов его биографии. На смертном одре Тургенев послал Льву Толстому последнюю просьбу: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!» Он написал это прощальное письмо, потому что было велико его чувство ответственности перед родной литературой и культурой.

В последние годы жизни Тургенев подарил своим читателям «Стихотворения в прозе». Самое знаменитое из них – «Русский язык». Слова из этого стихотворения вынесены в эпиграф нашего краткого очерка о писателе и его творчестве.

Тургенев умер под Парижем в Буживале. 9 октября 1883 года прах писателя прибыл в Петербург. Вокруг Волкова кладбища были расположены казачьи сотни, в похоронной процессии находились агенты охранки. Кладбище было наводнено полицейскими: правительство боялось беспорядков – Тургенев был вновь любимцем молодёжи.

Вопросы и задания

1. Какие черты Тургенева-человека вам запомнились? Каким вам представлялся писатель, когда вы впервые прочитали его рассказ «Муму» или другие произведения? Что изменилось сейчас в этом представлении?

2. Один журналист написал, что, по его мнению, судьбу писателя у читателей определяет та «толпа героев», которая сошла со страниц его произведений и живёт в их памяти. Кого вы могли бы вспомнить, чтобы создать «толпу героев» Тургенева?

3. В биографиях Тургенева очень часто используется итинерарий (указатель мест, которые посетил писатель). Как вы думаете, что даёт читателю знакомство с итинерарием Тургенева? Вспомните, у кого из русских писателей были самые богатые итинерарии.

Первая любовь. *В сокращении*

Посвящено П. В. Анненкову

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. <…>

II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьём по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад. <…>

В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зелёной малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг неё теснились четыре молодые человека, и она поочерёдно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твёрдому. <…>

III

«Как бы с ними познакомиться?» – было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не

видел. После чаю я прошёлся несколько раз по улице перед дачей – и издали заглядывал в окна… Мне почудилось за занавеской её лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться, – думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, – но как? Вот в чём вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною… Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне. <…>

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всём теле, встретил меня старый и седой слуга с тёмным, медного цвета, лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. <…>

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице её мелькнула усмешка.

– А вот и дочь моя, – промолвила княгиня, указав на неё локтем. – Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

– Владимиром, – отвечал я, вставая и пришепётывая от волнения.

– А по батюшке?

– Петровичем.

– Да! У меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка шурясь и склонив голову немного набок. <…>

– Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? – спросила она погодя немного. – Вы, наверно, осудили меня?

– Я… княжна… я ничего не думал… как я могу… – отвечал я с смущением.

– Послушайте, – возразила она. – Вы меня ещё не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду… и слушаться меня, – прибавила она. – Глядите на меня – отчего вы на меня не глядите?

Я смутился ещё более, однако поднял на неё глаза. Она

улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

– Глядите на меня, – промолвила она, ласково понижая голос, – мне это не неприятно… Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? – прибавила она лукаво.

– Княжна… – начал было я.

– Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) – у молодых людей – не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьёзный вид, промолвил:

– Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать. <…>

VI

Целый вечер и следующее утро я провёл в каком-то унылом онемении. <…> Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстух.

– Это зачем? – спросила матушка. – Ты ещё не студент, и Бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же её!

– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.

– Вот вздор! какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстуха не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда… <…> Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. <…>

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться… Каково же было моё удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно. <…>

Я только развёл руками – но она уже удалилась, накинув на

голову белый шарф.

VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик-слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались весёлые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала её кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдёмте же, – сказала она, – что вы стоите? Messieurs[1], позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочерёдно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсьё Вольдемару билет.

– Это несправедливо, – возразил с лёгким польским акцентом граф, очень красивый и щёгольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.

– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нём.

– По крайней мере позвольте объяснить господину

Вольдемару, в чём дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.

– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными чёрными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет… Господи! что сталось со мною, когда я увидал на нём слово: поцелуй!

– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.

– Браво! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. – А вы рады? – спросила она меня.

– Я?.. – пролепетал я.

– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсьё Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа её ногтем.

– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась, Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да ещё уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединённо и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная весёлость, эти небывалые сношения с незнакомыми

людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шёлковым платком: я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились её глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы её волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в верёвочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазёвываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы ещё проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в чёрной обёртке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу… Всего не перечислишь. Один Беловзоров всё больше держался в углу, нахмуренный и сердитый… Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики её не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой

ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: тёмная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгорячённое лицо; казалось, готовилась гроза; чёрные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в тёмных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец её удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши её благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку. Но я не разделся и не лёг.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко… Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблён, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы её всё так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно… как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошёл к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен…

Я лёг, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплёт его чётко отделялся от таинственно и смутно белевших стёкол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвлённые молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подёргивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошёл к окну и простоял там до утра… Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробьиная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на тёмную массу Нескучного сада, на желтоватые

фасады далёких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке… Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца всё бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали всё реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня…

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину… но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как пролетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?

VIII

На следующее утро, когда я сошёл к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал, – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

– Всё-таки они люди не comme il faut, – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почёл нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать всё, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною… Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я странно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное

доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… Потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда весёлость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал… Но и весёлость его и нежность исчезали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я всё это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо… сердце моё задрожит, и всё существо моё устремится к нему… он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдёт, либо займётся чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришёл к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чём угодно).

– Свобода, – повторил он, – а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

– Что?

– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил… Быть может, он предчувствовал, что ему не придётся долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу моё посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить её. Отец всё продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.

– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошёл к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошёл к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.

– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?

– Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

– Зина, а Зина! – проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унёс просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюблённый. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум не шло, всё из рук валилось, я по целым дням напряжённо думал о ней… Я изнывал… но в её присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал своё ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал – и всё-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог её комнаты. Зинаида тотчас же

догадалась, что я в неё влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в неё: все мужчины, посещавшие её дом, были от ней без ума – и она их всех держала на привязи, у своих ног. Её забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всём её существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым её движением носилась тонкая, лёгкая прелесть, во всём сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо её беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, лёгкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по её глазам и губам.

Каждый из её поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», – охотно кинулся бы за неё в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он всё предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам её души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряжённо уверял её, а может быть, и себя, что он её обожает, воспевал её в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал её лучше всех – и любил её больше всех, хотя бранил её за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актёрская натура, – сказала она ему однажды в моём присутствии, – а, хорошо! Так подайте ж вашу руку, я воткну в неё булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а всё-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться… и она смеялась, запуская довольно глубоко

булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам…

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умён, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нём даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, всё, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания её превосходства над окружавшими её людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придёт ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнёт, скажет: пустяки! – и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдёт к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку её стула и начнёт шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, – а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

– Что вам за охота принимать господина Малевского? – спросил я её однажды.

– А у него такие прекрасные усики, – отвечала она. – Да это не по вашей части.

– Вы не думаете ли, что я его люблю, – сказала она мне в другой раз. – Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил… Да я на такого не наткнусь, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

– Стало быть, вы никогда не полюбите?

– А вас-то? Разве я вас не люблю? – сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трёх недель я её видел каждый день – и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, – и я её дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать – я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг

любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда… но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запылённой крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик; всё ещё недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнажённой макушке берёзы; солнце и ветер тихо играли в её жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый – а я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было всё: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, или бы назвал это всё одним именем – именем Зинаиды.

А Зинаида всё играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной – и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на неё.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: её вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора – и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял её с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от неё. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой её черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

– Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила её и бросила её прочь, подальше.

– Вы меня очень любите? – спросила она наконец. – Да?

Я ничего не отвечал – да и зачем мне было отвечать?

– Да, – повторила она, по-прежнему глядя на меня. – Это так. Такие же глаза, – прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. – Всё мне опротивело, – прошептала она, – ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить… И что ждёт меня впереди!.. Ах, мне тяжело… Боже мой, как тяжело!

– Отчего? – спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на неё. Каждое её слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на неё – и, всё-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби – и пчёлы жужжали, низко перелётывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо – а мне было так грустно…

– Прочтите мне какие-нибудь стихи, – промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. – Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поёте, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочёл «На холмах Грузии».

– «Что не любить оно не может», – повторила Зинаида. – Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду… Что не любить оно не может – и хотело бы, да не может! – Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. – Пойдёмте. У мамаши сидит Майданов; он мне принёс свою поэму, а я его оставила. Он также огорчён теперь… что делать! Вы когда-нибудь узнаете… только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперёд. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырёхстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я всё глядел на Зинаиду и всё старался понять значение её последних слов.

> Иль, может быть, соперник тайный
> Тебя нежданно покорил? —

воскликнул вдруг в нос Майданов – и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я

увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновенье мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!» <…>

XII

Дни проходили. Зинаида становилась всё странней, всё непонятней. Однажды я вошёл к ней и увидел её сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась… всё лицо её было облито слезами.

– А! вы! – сказала она с жёстокой усмешкой. – Подите-ка сюда.

Я подошёл к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

– Больно… – проговорил я наконец.

– А! больно! а мне не больно? не больно? – повторила она.

– Ай! – вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. – Что это я сделала? Бедный мсьё Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

– Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, – сказала она, а у самой на глазах всё блестели слёзы. – Это вас, быть может, утешит немного… а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чём-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался – и скоро уехал. Я не мог слышать, о чём говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по её словам, была une femme capable de tout[2].

Я подошёл к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушёл к себе. Слёзы Зинаиды меня совершенно сбили с толку; я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я всё-таки был ребёнком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днём становился всё грознее и грознее и глядел на увёртливого графа, как волк на барана; да я ни о чём и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и всё искал уединённых мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и

сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, – и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон… Вдруг что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости… Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в лёгком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

– Что это вы делаете там, на такой вышине? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы всё уверяете, что вы меня любите, – спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришёлся о землю ногами, но толчок был так силён, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришёл в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе её звучала встревоженная нежность, – как мог ты это сделать, как мог ты послушаться… Ведь я люблю тебя… встань.

Её грудь дышала возле моей, её руки прикасались моей головы, и вдруг – что сталось со мной тогда! – её мягкие, свежие губы начали покрывать всё моё лицо поцелуями… они коснулись моих губ… Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришёл в себя, хотя я всё глаз не раскрывал, – и, быстро приподнявшись, промолвила:

– Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

– Подайте мне мой зонтик, – сказала Зинаида, – вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так… что за глупости? Вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня… Да он ничего не понимает, не отвечает, – прибавила она, словно про себя. – Ступайте домой, мсьё Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной – а то я рассержусь, и уже больше никогда…

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу… ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось наконец восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я

был ещё ребёнок. <…>

XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на своё дежурство – всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застёгнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами – и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошёл гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных».

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

– Вам я ничего не хочу сказать, – отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: моё появление – я не мог этого не заметить – производило на неё впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня… невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего – и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали её подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; её лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один тёплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел; над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, ещё прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно – и

ждал, не отворится ли оно: точно – оно отворилось, и в нём появилась Зинаида. На ней было белое платье – и сама она, её лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу – и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

– Дайте мне руку, – сказала она мне с прежней лаской, – мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на неё: глаза её тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

– Вы всё ещё нездоровы? – спросил я её.

– Нет, теперь всё прошло, – отвечала она и сорвала небольшую красную розу. – Я немножко устала, но и это пройдёт.

– И вы опять будете такая же, как прежде? – спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу – и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щёки.

– Разве я изменилась? – спросила она меня.

– Да, изменились, – ответил я вполголоса.

– Я с вами была холодна – я знаю, – начала Зинаида, – но вы не должны были обращать на это внимания… Я не могла иначе… Ну, да что об этом говорить!

– Вы не хотите, чтоб я любил вас, вот что! – воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

– Нет, любите меня – но не так, как прежде.

– Как же?

– Будемте друзьями – вот как! – Зинаида дала мне понюхать розу. – Послушайте, ведь я гораздо старше вас – и я могла бы быть вашей тётушкой, право; ну, не тётушкой, старшей сестрой. А вы…

– Я для вас ребёнок, – перебил я её.

– Ну да, ребёнок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства, – прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, – знак нашей к вам милости.

– Я от вас прежде получал другие милости, – пробормотал я.

– А! – промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. – Какая у него память! Что ж! я и теперь готова…

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на неё, а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж», – пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею – и всё недоумевал. «Неужели, – думал я, – эта кроткая, рассудительная девушка – та самая Зинаида, которую я знал?» И походка её мне казалась тише – вся её фигура величественнее и стройней…

И Боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

<…>

Вопросы и задания

Сюжет повести определён её названием. Найдите все этапы композиции этого произведения: экспозицию, завязку, кульминацию, развязку и эпилог. Как каждая из этих составных частей общей структуры «работает» на то, чтобы читатель с вниманием и интересом читал повесть?

1. В процессе работы над повестью автор особенно тщательно отрабатывал варианты портрета Зинаиды. Даже цвет глаз её менялся несколько раз: сначала это были «прекрасные глаза», потом «глубокие тёмно-серые глаза», затем «ласковые чудесные глаза», «светлые живые глаза», и, наконец, «светлые глаза». Попробуйте обосновать этот окончательный вариант Тургенева.

2. Какую роль в повести играют описания снов? Вспомните хотя бы один из них и определите его роль в композиции произведения.

3. Тургенев – признанный мастер пейзажа. Найдите в повести те пейзажные описания, которые, по вашему мнению, точнее всего раскрывают чувства героев, действуют на эмоциональную тональность событий.

4. В сне Зинаиды описывался прекрасный сад и не менее прекрасный фонтан, у которого должна была появиться героиня. В этот момент в чувствах Владимира происходит весьма стремительный рывок от восторга к прозаическому поступку: «Сад… Фонтан… – подумал я. – Пойду-ка я в сад». Как можно объяснить такую логику суждений?

1. Тургенев говорил, как свидетельствуют современники, что «это единственная вещь… которая мне самому до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь, это не сочинено… „Первая любовь“ – это пережито». Могут ли эти слова Тургенева убедить нас в том, что «Первая любовь» –

автобиографическая повесть?

2. Помогло ли вам раздумье над текстом «Первой любви» понять, почему Тургенев считал это произведением своим любимым?

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Я был бы несчастнейшим из людей, ежели бы не нашёл цели для моей жизни – цели общей и полезной…

Л. Н. Толстой

Лев Толстой вырос в богатой и знатной семье, но главное достоинство этой семьи было не столько в воспоминаниях о славных делах предков, сколько в доброжелательной атмосфере, которая жила в этом дворянском доме. Раннее детство для Толстого – это тот период, «в котором всё освещено таким милым утренним светом, в котором все хороши, всех любишь, потому что сам хорош и тебя любят».

Заглянув хотя бы на минуту в мир этого «золотого детства» (это выражение принадлежит Льву Николаевичу), мы убеждаемся в том, что Толстой стремится жить, честно оценивая себя и свои поступки. Он всю жизнь заботливо сохраняет в памяти сердца всё, что «видел, слышал и чувствовал», было ли это наблюдение крохотного мальчика за жатвой в жаркий летний день или размышления подростка о событиях собственной жизни. Дневники писателя, которые он вёл всю жизнь, – свидетельство этому.

Посмотрите на списки книг, которые приводит в своём дневнике читатель Лев Толстой, оценивая их роль в своей духовной жизни. При этом он так оформляет свои записи: после общего заголовка: «Произведения, имевшие влияние на Л. Н.», идут такие разделы: «Детство до 14-ти лет или около того», «С 14-ти лет до 20-ти», «С 20-ти до 35-ти лет», «С 35-ти до 50-ти лет». Список этот он составил в 1891 году. Вот что содержат записи о читательских впечатлениях в возрасте от 14 до 20 лет:

Евангелие Матфея. Нагорная проповедь	огромное
Стерн. Сентиментальное путешествие	очень большое
Руссо. Исповедь	огромное
Эмиль	огромное
Новая Элоиза	оч. большое
Пушкина. Евгений Онегин	оч. большое
Шиллера. Разбойники	оч. большое
Гоголь. Сначала написано: все произведения, кроме Тараса Бульбы, а потом это зачёркнуто и написано:	
Гоголя. Шинель, Иван Ив. и Ив. Ник.	
Невский проспект	большое
Вий	огромное
Мёртвые души	оч. большое
Тургенева. Записки охотника	оч. большое
Дружинина. Полинька Сакс	оч. большое
Григоровича. Антон Горемыка	оч. большое
Лермонтова. Герой нашего времени. Тамань	оч. большое
Прескотта. Завоевание Мексики	большое

Позже Толстой вновь возвращался к вопросам своих читательских впечатлений, и можно сказать, что эти первоначальные оценки сохранились достаточно прочно. Так, в 1856 году он «с наслаждением», как записывает в дневнике, перечитал «Мёртвые души», причём нашёл в этом произведении «много своих мыслей». Чтение же «Илиады» и «Одиссеи» записано как чтение на русском языке и позже на греческом языке, специально изученном уже стареющим Толстым.

Память о собственной юности была так отчётлива в сознании Толстого, что и в конце жизни он возвращается к мыслям об этом возрасте и создаёт обращение к юношам и девушкам, которое называет: «Верьте себе». Он писал в нём: «Помню, как я, когда мне было 15 лет… вдруг пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до сих пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому выбирать путь…»

Юношей Лев Толстой поступил в Казанский университет, но не был прилежен и ушёл из его стен, не окончив образования. Однако и в эти сложные годы поиски молодого Толстого поражают своим многообразием. Планы и «правила жизни» меняются, и при этом они очень интенсивно реализуются в жизненной практике.

Вот что он хотел сделать за два года после того, как оставил университет:

1) Изучить весь курс юридических наук…

2) …практическую медицину и часть теоретической…

3) …языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский…

4) Сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое…

Пунктов было ещё много. Можно только удивляться, как ему удалось выполнить хотя бы часть своих необъятных планов.

Жизнь в Ясной Поляне не удовлетворяла Толстого. Он отправляется к брату, который служит в действующей армии. На Кавказе Лев Толстой участвует в походах и, решив стать офицером, сдает экзамены (арифметика, алгебра, геометрия, история, география, иностранные языки) на звание юнкера.

С 14 января 1852 года Лев Толстой участвует в боевых действиях как офицер и «собой доволен»: желание прославиться сменяется стремлением «принимать большое влияние в счастии и пользе людей».

В эти месяцы началась серьёзная писательская работа – 4 июля 1852 года четвёртый вариант рукописи «Детства» отправлен в журнал «Современник» для публикации.

В эти же годы Толстой создаёт «Севастопольские рассказы», в которых война впервые в русской литературе предстала перед читателем «в крови, в страданиях, в смерти». Три рассказа – «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года» пользовались огромной популярностью, хотя судьба у них была вовсе не одинакова. Если первый рассказ вызвал одобрение даже у императора, то «Севастополь в августе 1855 года» появился под изменённым заглавием («Весенняя ночь») с многочисленными цензурными купюрами.

Севастополь пал в августе 1855 года. Завершилась и военная служба Толстого. На Кавказ уезжал безвестный юноша, из Севастополя вернулся офицер, уже заявивший о себе как яркий и необычный писатель. Толстой вошёл в литературу сразу как настоящий мастер без какого бы то ни было периода ученичества.

Он вернулся в столицу, был радостно принят и признан в кругу известных писателей: И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. Н. Островского и др.

Но жизнь в столице не даёт сосредоточиться, и писатель уезжает в своё родовое имение Ясную Поляну, где пройдёт большая часть жизни Льва Толстого. Именно там будет дописана автобиографическая трилогия, повесть «Юность» опубликована в

журнале «Современник» за 1857 год. Она завершила автобиографическую трилогию. И, хотя Толстой хотел продолжить рассказ о жизни Николеньки Иртеньева, обещанная им вторая часть «Юности» так и не была написана. Вместо задуманного романа «Четыре эпохи развития» появились три повести: «Детство», «Отрочество», «Юность».

Последнюю часть трилогии Толстой судил особенно строго. Перечитывая третью редакцию повести «Юность», он на отдельном листе ставит оценки каждой из глав: «Хорошо», «Не совсем ловко», «Так себе», «Славно», «Порядочно, содержания мало», «Не интересно», «Не дурно, но нечётко», «Пусто, но ничего», «Вяло и по языку слабо», «Нескладно, но не дурно».

В этих оценках звучит не только требовательность молодого писателя к тексту своего произведения: в них заложены определённые эстетические принципы. Например, реплика: «Рассуждения, а не художественно» дает право увидеть его требовательность к эстетической стороне художественного текста.

Мир, созданный Львом Николаевичем Толстым в своих произведениях, неисчерпаемо богат. Он прозорливо оценивает жизнь вокруг себя, ощущает и понимает её в десятки раз точнее и тоньше, чем это делает каждый из нас.

Вопросы и задания

▸**1.** Каким вы представляете себе Льва Толстого? Что кажется вам самым главным в его отношении к себе и к окружающим людям?

2. Как вы оцениваете Льва Толстого как читателя, поскольку вам знакомы списки прочитанных и высоко оценённых им произведений? Как вам кажется, стал бы Толстой вносить в эти списки те произведения, которые ему совсем не нравились, или он их не называл просто потому, что книги, которые не понравились, не остались в памяти?

▸▸▸**1.** Существует огромная коллекция портретов Льва Толстого: его рисовали, лепили, ваяли, фотографировали. Какой из знакомых вам портретов, по вашему мнению, наиболее точно воспроизводит не только его внешность, но и духовные качества этого необычного человека?

2. В последние годы жизни писателя его много раз рисовал Илья Репин. Он создавал портреты и сюжетные картины, которые показывали старого Толстого в действии, в движении. Среди них особенно популярна картина «Толстой на пашне». Чем, на ваш взгляд, вызвана такая популярность?

Юность. *В сокращении*

Глава I. Что я считаю началом юности

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, её цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла всё тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шёпотом иногда называл его, ещё нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твёрдым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало юности.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. <…>

Глава III. Мечты

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, – думал я, – и больше уж никогда не буду… (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и ещё после целый час читать Евангелие, потом из беленькой, которую буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

У меня будет особенная комната (верно, St.-Jérôme'ова), и я буду сам убирать её и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять всё (что было это „всё“, я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это „всё“ разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперёд проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперёд буду знать всё, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым учёным в России… даже в Европе я могу быть первым учёным… Ну а потом? – спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты – гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений: – Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьёвы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь играть на флейте). Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьёвы горы и когда-нибудь подойдёт ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на неё этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинёшенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать её… Нет, это не хорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду

делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо. Первый день буду держать по полпуда „вытянутой рукой“ пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, пока что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я…»

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убеждён в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. <…>

Глава XXXI. Comme il faut

Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

Род человеческий можно разделять на множество отделов – на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых, и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно своё любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Моё любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas[3].

Второй род подразделялся ещё на людей собственно не comme il faut и простой люд. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорблённое чувство личности; третьи для меня не существовали – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» – с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти – длинные, отчищенные и чистые;

третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвёртое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок, – это был простой; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, со штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над носком, – это был человек mauvais genre[4], и т. п.

Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, – Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, – всё это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и всё-таки чувствовал, что мне ещё много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж, всё это я никак не умел устроить так, чтобы было comme il faut, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам, заниматься этим. У других же без всякого, казалось, труда всё шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями, я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, я не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда ещё не знал, что одним из главных условий comme il faut была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается comme il faut. Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни

знаменитого артиста, ни учёного, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро, – он даже хвалил их за это: отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было, – но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, а они нет, – и довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, употреблённого на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьёзное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка comme il faut, – всё это ещё было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни учёным, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уже исполняет своё назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: «Кто ты такой? и что там делал?» не будут в состоянии ответить иначе как: «Je fus un homme trus comme il faut»[5].

Эта участь ожидала меня.

Глава XXXII. Юность

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив.

Иногда, и довольно часто, я вставал рано. (Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня.) Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шёл купаться в реке в тени березника, который был в полверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы

взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берёз, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги по свежей росе. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом, в надежде вдруг встретить где-нибудь её на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что простой народ не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательное сильное смущение и старался, чтоб они меня не видели. Когда уже становилось жарко, но дамы наши ещё не выходили к чаю, я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий. Заберёшься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой заросшей, густой малины. Над головой – яркое горячее небо, кругом – бледно-зелёная колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорною заростью. Тёмно-зелёная крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растёт выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою достаёт даже до развесистых бледно-зелёных ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевитые, как косточки, круглые, ещё сырые яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к солнцу; зелёная игловатая трава и молодой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлажнённые росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони ярко играет солнце.

В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной тенью, паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом, которого проглотишь нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою. Подвигаясь вперёд, спугиваешь воробьёв, которые всегда живут в этой глуши, слышишь их торопливое чириканье и удары о ветки их маленьких быстрых крыльев, слышишь жужжание на одном месте жировой пчелы и где-нибудь по дорожке шаги садовника,

дурачка Акима, и его вечное мурлыканье себе под нос. Думаешь себе: «Нет! ни ему, никому на свете не найти меня тут…», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен, насквозь мокры, в голове какой-нибудь ужаснейший вздор (твердишь тысячу раз сряду мысленно и-и-и по-оо-о двад-ца-а-ать и-и-и по семь), руки и ноги сквозь промоченные панталоны обожжены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чащу прямые лучи солнца, есть уже давно не хочется, а всё сидишь в чаще, поглядываешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и глотаешь лучшие ягоды.

Часу в одиннадцатом я обыкновенно приходил в гостиную, большей частью после чаю, когда уже дамы сидели за занятиями. Около первого окна, с опущенной на солнце небелёной холстинной шторой, сквозь скважины которой яркое солнце кладёт на всё, что ни попадётся, такие блестящие огненные кружки, что глазам больно смотреть на них, стоят пяльцы, по белому полотну которых тихо гуляют мухи. За пяльцами сидит Мими, беспрестанно сердито встряхивая головой и передвигаясь с места на место от солнца, которое, вдруг прорвавшись где-нибудь, проложит ей то там, то сям на лице или на руке огненную полосу. Сквозь другие три окна, с тенями рам, лежат цельные яркие четырёхугольники; на некрашеном полу гостиной, на одном из них, по старой привычке, лежит Милка и, насторожив уши, вглядывается в ходящих мух по светлому четырёхугольнику. Катенька вяжет или читает, сидя на диване, и нетерпеливо отмахивается своими беленькими, кажущимися прозрачными в ярком свете ручками или, сморщившись, трясёт головкой, чтоб выгнать забившуюся в золотистые густые волоса бьющуюся там муху. Любочка или ходит взад и вперёд по комнате, заложив за спину руки, дожидаясь того, чтоб пошли в сад, или играет на фортепьяно какую-нибудь пьесу, которой я давно знаю каждую нотку. Я сажусь где-нибудь, слушаю эту музыку или чтение и дожидаюсь того, чтобы мне можно было самому сесть за фортепьяно. После обеда я иногда удостаивал девочек ездить верхом с ними (ходить гулять пешком я считал несообразным с моими годами и положением в свете). И наши прогулки, в которых я провожу их по необыкновенным местам и оврагам, бывают очень приятны. С нами случаются иногда приключения, в которых я себя показываю молодцом, и дамы хвалят мою езду и смелость и считают меня своим покровителем. Вечером, ежели гостей никого нет, после чаю, который мы пьём в тенистой галерее, и после прогулки с папа́ по хозяйству я ложусь на старое

своё место, в вольтеровское кресло, и, слушая Катенькину или Любочкину музыку, читаю и вместе с тем мечтаю по-старому. Иногда, оставшись один в гостиной, когда Любочка играет какую-нибудь старинную музыку, я невольно оставляю книгу и, вглядываясь в растворенную дверь балкона в кудрявые висячие ветви высоких берёз, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает; и, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрипа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и maman, и Карла Иваныча, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминание это только крылом касается меня и летит дальше.

После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду – один я боялся ходить по тёмным аллеям – я уходил один спать на полу на галерею, что, несмотря на миллионы ночных комаров, пожиравших меня, доставляло мне большое удовольствие. В полнолуние я часто целые ночи напролёт проводил сидя на своём тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, которое мне тогда казалось высшим счастием в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только что все разойдутся и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома. До тех пор, пока есть маленькая, беспричинная надежда хотя на неполное такое счастие, о котором я мечтаю, я ещё не могу спокойно строить для себя воображаемое счастие.

При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал и мрачнее и светлее, как скоро исчезли на нём полосы красного света из окон, последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу света по росистому саду, и мне видна через окно сгорбленная фигура Фоки, который в кофточке, со свечой в руках, идёт к своей постели. Часто я находил большое волнующее наслаждение, крадучись по мокрой траве в чёрной тени дома, подходить к окну передней и, не переводя дыхания, слушать храпение мальчика, покряхтыванье

Фоки, полагавшего, что никто его не слышит, и звук его старческого голоса, долго, долго читавшего молитвы. Наконец тушилась его последняя свечка, окно захлопывалось, я оставался совершенно один и, робко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь, подле клумбы или подле моей постели, белой женщины, – рысью бежал на галерею. И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было, от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.

Тогда всё получало для меня другой смысл: и вид старых берёз, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой – мрачно застилавших кусты и дорогу своими чёрными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперёк серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берёз друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками, – всё это получало для меня странный смысл – смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия. И вот являлась она, с длинной чёрной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнажёнными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты её любви всей жизнью. Но луна всё выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во всё это, что-то говорило мне, что и она, с обнажёнными руками и пылкими объятиями, ещё далеко, далеко не всё счастие, что и любовь к ней далеко, далеко ещё не всё благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слёзы какой-то неудовлетворённой, но волнующей радости навёртывались мне на глаза.

И всё я был один, и всё мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределённом месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой всё необъятное пространство, и я,

ничтожный червяк, уже осквернённый всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне всё казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же. <…>

Вопросы и задания

1. В каждой из частей автобиографической трилогии Льва Толстого есть глава, которая названа так же, как и сама повесть. В «Детстве» это глава XV, в «Отрочестве» – XIX, в «Юности» – глава XXXII. Можете ли вы решить, зачем автору нужны такие специальные главы? После того как вы подумаете об этом, перечитайте XXXII главу из «Юности». Были ли вы правы в своём предположении?

2. В первой редакции одной из частей трилогии были такие строки: «Мечты честолюбия, разумеется, военного, также тревожили меня. Всякий генерал, которого я встречал, заставлял меня трепетать от ожидания, что вот-вот он подойдёт ко мне и скажет, что он замечает во мне необыкновенную храбрость и способность к военной службе и верховой езде… и наступит перемена в жизни, которую я с таким нетерпением ожидаю». Как вы думаете, в какой из повестей можно прочесть эти строки: в «Отрочестве» или «Юности»?

3. Какая из прочитанных глав открыла вам характер и взгляды героя полнее всего, помогла заинтересоваться им как человеком?

1. Прочтите главу «Мечты», попробуйте её пересказать и дать к ней собственный комментарий.

2. Если вы читали повесть «Отрочество», сравните главы с одинаковым названием «Мечты». Чем отличаются мечты подростка от мечтаний юноши в этих повестях?

3. Перечитайте главу «Что я считаю началом юности». Согласны ли вы с тем, как автор определил начало нового периода жизни?

4. Как вы связываете «мечты» Николеньки Иртеньева с его «правилами»? Для ответа используйте главы «Мечты» и «Правила».

5. Почему в повести «Юность» появилась глава с несколько неожиданным названием: «Я большой»? В каком возрасте вам приходила мысль о том, что вы уже стали «большими»? Были ли вы тогда ровесниками Николеньки Иртеньева?

6. Большую роль в рассказе о юности Николеньки Иртеньева играют описания экзаменов. Попробуйте рассказать об одном из

них по своему выбору. Близки ли вам чувства Николеньки Иртеньева?

7. Лев Толстой, как утверждают специалисты, был единственным человеком, который сумел описать распространённое явление – «comme il faut». Как вы поняли, что такое «комильфо»? Есть ли и в нашем обществе люди, которые стремятся следовать такого рода идеалам?

8. Толстой, работая над повестью «Юность», читал «Евгения Онегина», «Мёртвые души» и «Посмертные записки Пиквикского клуба» Диккенса. Видите ли вы какую-то связь между настроением писателя, которым проникнуты страницы «Юности», и книгами, которые он перечитывал?

9. Попробуйте рассказать о Николеньке Иртеньеве, каким вы узнали его в повести «Юность». При подготовке рассказа внимательно проследите за отношением автора к герою. Ведь именно в этой повести вместо открытой симпатии, которую испытывал автор к нему в первых двух частях трилогии, возникает двойственное отношение к герою. Тщеславие, которым проникнуто поведение Николеньки, раздражало Толстого, он к тому времени, когда писал повесть, уже преодолел эти ложные увлечения и соблазны.

10. Что более всего привлекло вас в главах «Юности» – знакомство с героями или возможность пересмотреть собственные взгляды, идеалы, поведение?

Антон Павлович Чехов (1860–1904)

Это был несравненный художник… художник жизни… И достоинство его творчества в том, что оно понятно и сродни не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще.

Л. Н. Толстой

«Жизнь даётся человеку один раз, и нужно прожить её бодро, осмысленно, красиво». Эти слова принадлежат Чехову. Именно так прожил свою непростую жизнь этот удивительный писатель.

А. П. Чехов родился в Таганроге. Его дед по отцу, крепостной из Воронежской губернии, выкупил себя с семьёй на волю и в конце жизни служил управляющим имением. Отец Чехова владел в Таганроге небольшой бакалейной лавкой. В его натуре соединились стремление «выйти в люди» с непрактичностью и неумением вести дела, художественная одарённость – с властностью и деспотичностью по отношению к домашним. «Я прошу тебя вспомнить, – писал Чехов брату Александру, который был ему духовно близок, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать».

Мать Чехова, также внучка выкупившегося на волю крестьянина-крепостного, вносила в семью мягкость и человечность. «Талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери», – говорил впоследствии Чехов.

Из радостей детства ему навсегда запомнились рыбалка, ранняя весна на Дону, ловля щеглов. Яркая способность к импровизации и подражаниям проявлялась в сценках, домашних представлениях, которые Чехов сочинял и разыгрывал с братьями.

Учение особого интереса у Чехова не вызывало: дух казёнщины и формализма, царивший в гимназии, впоследствии отражён в ряде его произведений, особенно в «Человеке в футляре». Гораздо большее влияние на его духовное становление оказали театр и библиотека.

В 1876 году отец Чехова, окончательно разорившись, бежал от долговой тюрьмы в Москву, туда же уехали мать с младшими детьми. Антон в 16 лет остался в Таганроге один, без денег, в

чужом доме и должен был зарабатывать уроками на жизнь и учение и ещё высылать небольшие денежные переводы семье.

В 1879 году Чехов поступает на медицинский факультет Московского университета. Занятия в университете он соединяет с разнообразной и непрерывной литературной работой, что становится почти единственным средством существования семьи. Чехов печатается в журналах «Зритель», «Стрекоза», «Будильник», «Осколки» под псевдонимами Антоша Чехонте, Человек без селезёнки, Брат моего брата и др. – всего известно свыше 50 чеховских псевдонимов. Главными жанрами юмористической прессы были так называемые мелочи, писавшиеся по давно устоявшимся шаблонам – шуточные афоризмы, подписи к рисункам, пародийные календари, отчёты, словари, руководства. Чехов работал почти во всех этих жанрах, но достаточно скоро традиционность малых форм начала тяготить его.

Писатель перерастает юмористическую мелочь, рассказы 1882–1883 годов («Дочь Альбиона», «Смерть чиновника», «На гвозде», «Торжество победителя» и др.) выбиваются из общего фона юмористических рассказов. О рассказе «На гвозде» редактор «Осколков» Лейкин написал своему сотруднику А. Чехонте: «Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет».

В произведениях писателя намечается чрезвычайное разнообразие тональности. Юмор не исчезнет никогда из творчества Чехова, но приобретёт новые оттенки. В читательском сознании сосуществуют два Чехова: автор «Толстого и тонкого», «Хамелеона», «Лошадиной фамилии», «Жалобной книги» и автор «Скучной истории», «Дома с мезонином», «Дамы с собачкой».

А. П. Чехов – общепризнанный мастер малой повествовательной формы. Она становится у писателя удивительно ёмкой и даёт возможность проникнуть в суть явлений, обнаружить глубинные связи и закономерности действительности. Изображая повседневное, т. е. то, что может случиться всегда и со всяким, писатель берёт мельчайший факт из жизни отдельного человека и возводит до уровня общечеловеческих отношений.

В 1887 году выходит сборник рассказов Чехова «В сумерках», за который Академия наук присуждает ему Пушкинскую премию.

В рассказах и повестях, написанных в 90-е годы, Чехов пишет о проблемах интеллигенции, об иллюзиях, заблуждениях и несостоятельности жизненных программ («Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Учитель словесности»). О ложных представлениях, определяющих судьбы людей, повествует каждый из рассказов «маленькой трилогии» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Герои этого цикла связаны скрытой общностью:

гимназический учитель Беликов, который свёл свою жизнь к следованию инструкциям и правилам, с его девизом «как бы чего не вышло» («Человек в футляре»), чиновник Чимша-Гималайский, мечтающий всю жизнь о покупке имения с крыжовником («Крыжовник»), помещик Алёхин, который, будучи влюблён, позволил сдерживающим соображениям настолько овладеть собою, что погибла сама любовь («О любви»). Каждый из героев пытается подчинить жизнь какой-либо узкой программе, заключить её в некий футляр.

В 1898 году состоялась встреча Чехова с коллективом созданного К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественного театра. После триумфального успеха «Чайки» в декабре 1898 года в Художественном театре ставят «Дядю Ваню» (1899). Две последние пьесы «Три сестры» (1901) и «Вишнёвый сад» (1903) Чехов пишет специально для этого театрального коллектива. Немирович-Данченко говорил, обращаясь к писателю: «Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: „это – мой театр!“»

Чехов умер на немецком курорте Баденвейлере, не успев осуществить многих творческих замыслов.

Человек в футляре. *В сокращении*

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потёмках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

– Что же тут удивительного! – сказал Буркин. – Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был ещё общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает? Я не естественник, и не моё дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нём слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом пальто на вате. И зонтик у него в чехле и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, своё отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: – Антропос![6]

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определённо; запрещено – и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

– Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло. <…>

Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придёт к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдёт. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать

лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нём кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте…

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

– Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели… То-то вот оно и есть.

– Беликов жил в том же доме, где и я, – продолжал Буркин, – в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло! <…>

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

– Шутите!

– Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу… А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощёкая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поёт малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальётся голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряжённо скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поёт, пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом ещё романс, и ещё, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

– Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у неё есть хутор, а на хуторе живёт мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У

хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!».

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

– А хорошо бы их поженить, – тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

– Ему давно уже за сорок, а ей тридцать… – пояснила свою мысль директорша. – Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берёт в театре ложу, и смотрим – в её ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. <…>

И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придёт к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поёт ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими тёмными глазами, или вдруг зальётся:

– Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все – и товарищи и дамы – стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остаётся в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьёзный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему

ласково, сердечно, – голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

– Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, – проговорил Иван Иваныч.

– Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьёзный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, ещё глубже ушёл в свой футляр.

– Варвара Саввишна мне нравится, – говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, – и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но… всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг… Надо подумать.

– Что же тут думать? – говорю ему. – Женитесь, вот и всё.

– Нет, женитьба – шаг серьёзный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность… чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у неё с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадёшь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов, он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошёл kolossalische Skandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

– Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не понимаю, как вы переваривaете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами ещё немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слёз то басом, то тонким

писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

– Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

– Не моё это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идёт Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюблённый антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжёлое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, – это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, – выходим мы, а он зелёный, мрачнее тучи.

– Какие есть нехорошие, злые люди! – проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идём, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморённая, но весёлая, радостная.

– А мы, – кричит она, – вперёд едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зелёного стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня…

– Позвольте, что же это такое? – спросил он. – Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

– Что же тут неприличного? – сказал я. – И пусть катаются себе на здоровье.

– Да как же можно? – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. – Что вы говорите?!

И он был так поражён, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он всё время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушёл, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя

погода, и поплёлся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

– Садитесь, покорнейше прошу, – проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

– Я к вам пришёл, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и ещё одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чём… Я не подавал никакого повода к такой насмешке, – напротив же, всё время вёл себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

– И ещё я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только ещё начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

– Почему же? – спросил Коваленко басом.

– Да разве тут надо ещё объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остаётся ученикам? Им остаётся только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!

– Что же, собственно, вам угодно?

– Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот ещё велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдёт до попечителя… Что же хорошего?

– Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

– Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не выражаться в моём присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил Коваленко, глядя на него со злобой. – Пожалуйста, оставьте меня

в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

– Можете говорить, что вам угодно, – сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. – Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора… в главных чертах. Я обязан это сделать.

– Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдёт до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – нарисуют новую карикатуру, и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку…

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чём дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

– Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лёг и уже больше не вставал.

Дня через три пришёл ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошёл к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал: спросишь его, а он только да или нет – и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже весёлое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже

никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, – это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, ещё в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намёк, даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещённая циркулярно, но и не разрешённая вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько ещё таких человеков в футляре осталось, сколько их ещё будет!

– То-то вот оно и есть, – сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

– Сколько их ещё будет! – повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с чёрной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

– Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх. <…>

– То-то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живём в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

– Нет, уж пора спать, – сказал Буркин. – До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались лёгкие шаги: туп, туп… Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдёт немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп… Собаки заворчали.

– Это Мавра ходит, – сказал Буркин.

Шаги затихли.

– Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком за то,

что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за тёплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!

– Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, – сказал учитель. – Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч всё ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

О юморе и сатире

Юмор – особый вид комического; отношение сознания к объекту, сочетающее внешне комическую трактовку с внутренней серьёзностью. В юмористических произведениях обычно подвергаются осмеянию существенные, но частные недостатки каких-либо жизненных явлений, а иногда и отдельные черты людей. По отношению к таким недостаткам автор не испытывает негодования, дружески подшучивает над ними.

Сатира – вид комического: беспощадное осуждение, уничтожающее отношение к объекту изображения. В сатирическом изображении писатель часто показывает отрицательные стороны жизненных явлений в нарочито подчёркнутом, преувеличенно комическом, иногда гротескном виде, благодаря чему отчётливее выступают несообразность, недопустимость их в жизни.

Отношение юмора к сатире определяется тем, что источником сатирического смеха служат пороки, недостатки как таковые, а юмор исходит из той истины, что наши недостатки и слабости – это чаще всего продолжение или изнанка наших же достоинств. Сатира, разоблачая объект, откровенна в своих проявлениях, тогда как цель юмора – ничего не отвергая, помочь человеку легко, со смехом преодолеть жизненные и личностные проблемы. Бескомпромиссно-требовательная позиция сатирика ставит его во внешнее отчуждение, враждебное положение к объекту, более близкое отношение юмориста тяготеет к снисходительности.

Вопросы и задания

1. Что находится в центре внимания Чехова – курьёзный случай, происшедший с чудаком, или жизнь в её уродливых

проявлениях? Ответ обоснуйте.

2. Один из знакомых Чехова заметил: «Вчера после прочтения „Человека в футляре“ я более двух часов говорил об этом гнетущем, только в России возможном явлении…» О каком явлении идёт речь? Какие явления общественной жизни нашли отражение в рассказе?

⏩**1.** Объясните смысл названия рассказа.

2. В чём, на ваш взгляд, заключается понятие «футлярность жизни»? Как это раскрывается в образе главного героя?

3. С помощью каких приёмов автор создаёт образ Беликова? Найдите в тексте примеры использования гротеска.

4. Художественная деталь – выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую и идейную нагрузку. Найдите в тексте художественные детали и покажите их роль.

5. Как речь, реплики героя помогают раскрыть его характер? Какое любимое слово у Беликова и как оно раскрывает его сущность?

6. Комичен или страшен Беликов?

7. Что обличает и осуждает Чехов в своём рассказе? Какая проблема волнует писателя?

⏩⏩**1.** М. Громов в «Книге о Чехове» пишет: «В Беликове снижена и развенчана тема тиранической власти, древняя тема. Чехов развенчал трагедийный образ, лишив его даже тени величия, ибо тиран велик лишь в глазах раба, в глазах свободного человека тиран – ничтожество». В чём заключается причина общего страха перед Беликовым?

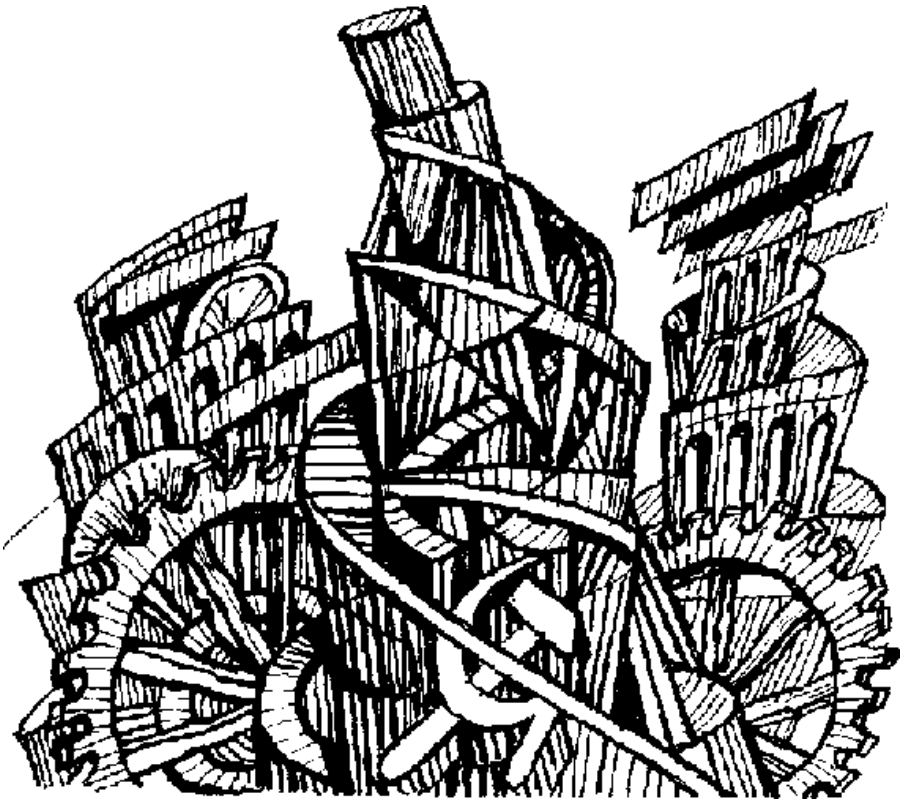
2. Почему три разных на первый взгляд рассказа составляют единый цикл – «маленькую трилогию»? Что связывает их между собой?

3. Как «футлярность жизни» проявляется в рассказах «Крыжовник», «О любви»?

4. Юмористический или сатирический рассказ «Человек в футляре»? Ответ обоснуйте.

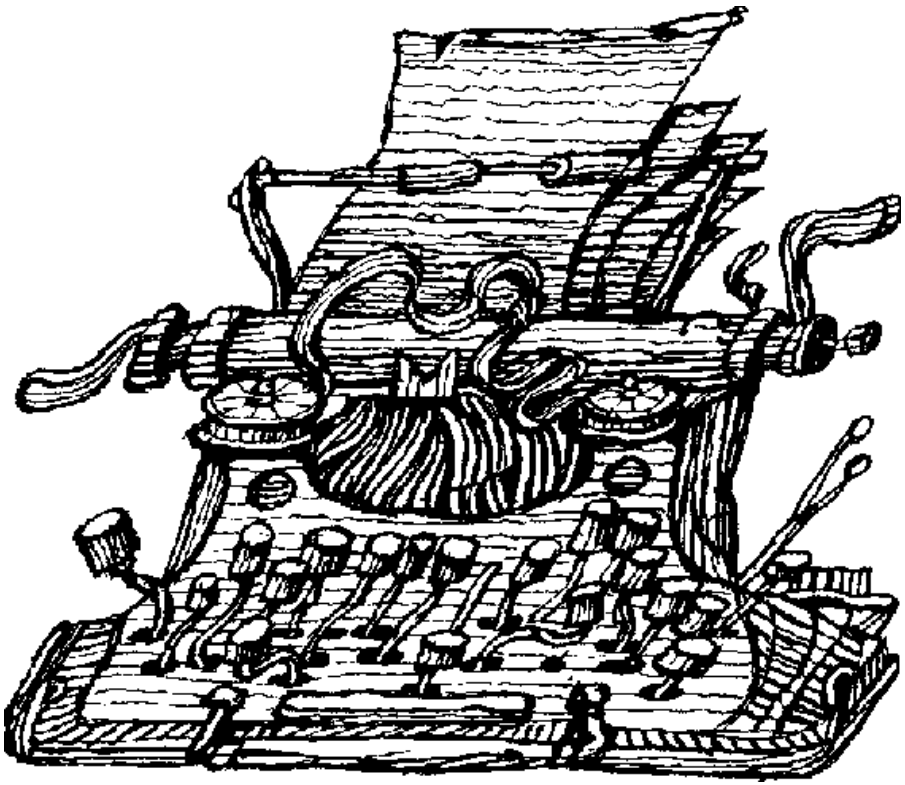
5. Приведите примеры юмора и сатиры в прочитанных вами рассказах Чехова.

Литература XX века



Русская литература 60–90-х годов.

О русской литературе XX века



Русская литература XX века развивалась бурно и противоречиво. В начале столетия возникло множество художественных течений, читатели вновь и вновь убеждались, что перед ними мощное и стремительно развивающееся искусство, которое ищет и находит новые пути.

1917 год резко изменил характер развития русской литературы: внутри страны создавалась советская литература, за пределами России – литература зарубежья. Везде были находки и неудачи, но нельзя забывать главное – это необъятное море произведений носит имя Русская литература.

Советская литература развивалась стремительными темпами. Размах издательской деятельности в СССР был колоссален. Страна претендовала на то, чтобы считаться самой читающей в мире. Но была и другая статистика. В 30-е годы в СССР было расстреляно около тысячи писателей, примерно столько же не выжило в тюрьмах и лагерях.

Русская литература XX века – это не только сохранение и развитие традиций писателей и поэтов девятнадцатого столетия,

но и новаторский подход к созданию новых тем, образов.

При всём богатстве литературных поисков в XX веке всё же основным направлением можно считать реализм, который активно взаимодействует с другими художественными методами XX и XXI веков.

Теоретическое осмысление такого сложнейшего явления, как русская литература XX века, очевидно, ещё впереди. Однако обращение к реалистическим произведениям и к произведениям писателей и поэтов других направлений несёт в нашу жизнь стремление сделать её совершеннее, расширяет возможности познания мира, обогащает мир чувств читателя.

Вопросы и задания

1. В чём вы видите особенности развития русской литературы XX века?

2. Какое литературное направление является ведущим в русской литературе XX века?

3. Сопоставьте известные вам произведения XIX и XX веков. Определите их темы.

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь, – как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирною толпой!

И. А. Бунин

«Казалось, что Бунин имел в жизни всё, что человек на земле может желать: долголетие, талант, красоту, славу… и, имея всё это, смиряясь и не сдаваясь, оставался он вместе с нами, в нашей нищете и изгнании.

Он много знал, много страдал и многое возлюбил.

Был он Поэт и, пытаясь возвышать и преображать жизнь, платил за всё дорогою ценой» – такие слова прозвучали в Париже в ноябре 1953 года, когда друзья и родные провожали в последний путь замечательного русского поэта и писателя.

Иван Бунин провёл детство в обедневшем родовом имении на хуторе Бутырки Орловской губернии среди «моря хлебов, трав, цветов». Не окончив гимназии, Бунин отправляется на поиски своей судьбы: он работает корректором, библиотекарем, газетным репортёром… В 1891 году вышел первый сборник его стихов, за ним последовали другие. Поэзия Бунина – это песнь о родине, о её «бедных селеньях», необъятных лесах в «атласном блеске березняка». За сборник «Листопад», который был посвящён Горькому, поэт получил в 1901 году Пушкинскую премию.

В эти же годы Бунин создаёт прозаические произведения: рассказы «Антоновские яблоки», «Сосны», «Чернозём» и многие другие. Они производят на современников сильное впечатление, словно подтверждая это, Горький скажет: «…Он так стал писать прозу, что если скажут о нём: это лучший стилист современности – здесь не будет преувеличения». В 1909 году Академия наук избирает его почётным академиком.

Враждебно встретив революцию, Бунин в 1920 году эмигрировал во Францию. За рубежом творчество писателя не утратило своей яркости и неразрывной связи с Родиной. В эмиграции Бунин оставался одним из самых значительных и ярких русских писателей. В 1933 году ему была присуждена Нобелевская премия. В 1954 году, на Втором съезде писателей СССР, его, жившего за рубежами Родины, назвали «классиком рубежа двух столетий». Во Франции им были созданы сборники рассказов «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Под серпом и молотом», цикл портретов (Горький, Маяковский, Волошин)…

Бунин так и не узнал, что Лев Толстой, читая его раннюю прозу, сказал: «Идёт дождик, – и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего». Это суждение прозвучало в начале века, и годы только оттачивали мастерство. В 1915 году поэт напишет пророческие строки.

Слово

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

Теперь уже ясно: речь была сохранена, она возрождалась в стихах и прозе. Вот как в изгнании в последние годы жизни будет звучать русское слово.

Русская сказка

Ворон

Ну что, бабушка, как спасаешься?
У тебя ль не рай, у тебя ль не мёд?

Яга

Ах, залётный гость! Издеваешься!
Уж какой там мёд – шкуру пёс дерёт!
Лес гудит, свистит, нагоняет сон,
Ночь и день стоит над волной туман,
Окружён со всех с четырёх сторон
Тьмой да мглой сырой островок Буян.
А ещё темней мой прогнивший сруб,
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
А в окно глядит только голый дуб,
Под каким яйцо закопал Кощей.
Я состарилась, изболела вся,
Сохраняючи чёртов тот ларец!
Будь огонь в светце – я б погрелася,
Будь капустный клок – похлебала б щец.
Да огонь-то, вишь, в океане – весть,
Да не то что щец – нету прелых лык!

Ворон

Чёрт тебе велел к чёрту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

Это конец 1921 года. Сказка это или притча – решать читателям.

Можно прочесть и прямой отклик на жизнь в изгнании. В наследии поэта есть такое стихотворение (1920).

Изгнание

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан…
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперёд на чёрное распятье
Среди дорог —
И простирает скорбные объятья
Почивший Бог.

Среди созданных в эмиграции произведений – замечательный автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1930 г., Париж; в Москве впервые издано в однотомнике 1961 г.).

Замысел романа жил в сознании писателя давно. В дневниковой записи от 7 мая 1940 года можно прочесть: «Жизнь Арсеньева» («Истоки дней») вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VII.29.

Исследователи считают, что прототипы «Жизни Арсеньева» «прозрачны», узнаваемы. Некоторые прямо утверждают, что Алексей Арсеньев – сам Ваня Бунин, Александр Сергеевич Арсеньев – отец Бунина, Алексей Николаевич, Георгий – брат Юлий, Николай – брат Евгений. Родной хутор Бутырки Елецкого уезда, где «в вечной тишине» полей протекало детство писателя, назван в романе Каменка.

Жизнь Арсеньева. ***В сокращении***

Книга первая

XI

Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму… Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.

Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) – и на минуту запнулся: на меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в чёрных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлён и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, – может быть, за одно лето, как это часто бывает, – произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выраженьем лица – и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой

уже довольно высокий рост, свою худощавость и своё живое, осмысленное выраженье: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребёнок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему…

И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелёгкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретёнными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своём роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним своё ученье. Я перенёс первую тяжёлую болезнь. Пережил новую смерть – смерть Нади, потом смерть бабушки… <…>

XIV

Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъёмные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу коленопреклонённого юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты XII века. И как у тебя бьётся сердце в азиатском мире, так у меня забилось сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своём веку много самых славных замков Европы и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребёнком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских кремлях и доныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошёл в костёл, хотя это был всего-навсего костёл в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в развёрстых небесах ангельские гласы…

А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому-то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пиро́ги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – всё чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле неё в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие виденья и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! <…>

В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню особенно две: на одной – финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к её перистой верхушке – и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Всё это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющихся в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-жёлтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я всё, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованьях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, всё это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!

XV

Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:

> У лукоморья дуб зелёный,
> Златая цепь на дубе том…

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже

прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во всё моё существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «учёный» кот, ни с того ни с сего очутившийся на нём и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки, и «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «учёный» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», – только следы, а не самые звери! – и это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зелёный дуб, златая цепь), а потом – сон, наважденье, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из волн выходят ясных,
И с ними дядька их морской…

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав». Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей…» А «Страшная месть»!

«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости…»

«Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, чёрным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но ещё больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый

отец…»

И дальше:

«Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла ещё далее в чащу сосен… Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: чёрные козацкие шапки набекрень, и под вёслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны…»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на её руках ребёнка: «На том платке были вышиты красным шёлком листья и ягоды» (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она «замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дёргал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи…»

Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, – и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса.

«Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними ещё гора, а там уже и поле, а там хоть сто вёрст пройди, не сыщешь ни одного козака…»

Да, вот это было мне нужно!

«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы; хата на вид, как у простых козаков, и в ней одна светлица… Вокруг стен, вверху, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья… Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на верёвках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы…»

Несравненней всего – эпилог:

«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро…»

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, – чувство

священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществленья Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему…

XVI

Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряжённо жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной.

Подлинная жизнь была бедна.

Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь всё-таки только поле да небо видел я. <…>

XIX

<…> В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», – решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», – через мгновенье ещё решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я ещё не выдержу…»

Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили «чётко и красиво» написать: «Снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть: «Румяной зарёю покрылся восток…» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошёл до

пробужденья стад «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробужденье, и он поспешно сказал:

– Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что знаешь…

Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Всё вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, лёгкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!

Сказочная дорога в город, в котором я не был со времён моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной, трёхэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого мощёного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-чёрные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.

После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне даётся отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, – он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, – у меня ещё более. Всё вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рожденья до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно: слава Богу, целых три недели! – точно этим трём неделям и конца не предвиделось.

– Ну-с, зайдём теперь поскорей к портному – и обедать! – весело сказал отец, выходя из гимназии.

И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и всё что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату, какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде: старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из чёрного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на

затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и чёрной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, – в общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, – на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец:

– И на чёрта ему эти амаликитяне? <…>

Книга вторая

V

Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был такой, что мнилось: всё кончено! Но, может, ещё ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Всё с иголочки, всё прочно, ловко, всё радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженых головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради… А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор её, сверкающие на солнце стёкла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким-то сугубым возбужденьем вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по классам, – ведёт и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной капитан, – первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумлённых глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой… Через несколько дней всё это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы…

Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые

более или менее нравились, по остальным – посредственно, отделываясь своей способностью быстро всё схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казённо. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, тёмными, куда-то в пустоту, в пространство печально и тихо устремлёнными глазами…

Что ещё сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Всё то же хождение в классы, всё то же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, всё та же неотступная мечта о будущих каникулах, всё тот же счёт дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, – ах, если бы поскорей мелькали они! <…>

XV

Через год вышел на свободу и я, – бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной.

Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…

Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась ещё одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всём моём существе.

Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен,

если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идёт в нём, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А ещё через некий срок внезапно лопаются почки – и чёрный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зелёные мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый тёплый ливень – и опять, ещё раз совершается диво: дерево стало уже так тёмно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь… Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни —

Когда в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться стала муза мне…

Ни лицейских садов, ни царскосельских озёр и лебедей, ничего этого мне, потомку «промотавшихся отцов» в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой – всё это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, «расцветал» я, очень не походило на царскосельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них! Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, – те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали её! И не всё ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить!

XVI

Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих… Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу.

Как в старинных стихах:

Мне возвращён был кров родимый,
Дарован мир степной глуши,

Привычный быт и круг любимый
И жар восторженной души…

Почему я возвратился под этот кров, почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого на первый взгляд ничтожного события?

Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура.

– Нет, – говорил он, – призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать-то, слава Богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?..

В самом деле, многое сложилось против моего казённого учения: и та «вольность», которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству и которой немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и моё призвание «к поэзии души и жизни», уже ясно определившееся в ту пору, и, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино.

Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские, – его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нём, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То, весьма, в сущности, неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но всё-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, – «нельзя жить плакучей ивой», что «жизнь всё-таки великолепная вещь», как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо-чудесное – словесное творчество. И в мою душу запало твёрдое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в

Батурино и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные. <…>

Книга третья

VIII

Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни.

Когда он вошёл в меня? Я слышал о нём с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал всё только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел» – и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я» – и я видел этот цветок в её собственном девичьем альбоме… Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным.

Никак не отделим был от неё и Лермонтов:

Немая степь синеет, и кольцом
Серебряным Кавказ её объемлет,
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Чёрное шумит, не умолкая…

Какой дивной юношеской тоске о далёких странствиях, какой страстной мечте о далёком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу! И всё-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!

Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне

радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный» – с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:

Ещё ты дремлешь, друг прелестный…

Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:

Вопросами: тепло ль? утихла ли метель,
Пороша есть иль нет? И можно ли постель
Оставить для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?

Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной, выражает мою заветную мечту:

Спеши, моя краса,
Звезда любви златая
Взошла на небеса!

Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?

Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – в самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка, – и кто это изливает свою юношескую любовь или, вернее, жажду её – я или он?

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!

А там опять «роняет лес багряный свой убор», и «страждут озими от бешеной забавы» – той самой, которой с такой страстью предаюсь и я:

Как быстро в поле, вкруг открытом,
Подкован вновь, мой конь бежит,
Как звонко под его копытом

Земля промёрзлая стучит!

Ночью же тихо всходит над нашим мёртвым чёрным садом большая мглисто-красная луна – и опять звучат во мне дивные слова:

Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла, —

и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далёкой стране, идёт в этот тихий час -

К брегам, потопленным шумящими волнами…

Вопросы и задания

1. Когда, по утверждению рассказчика – Алексея Арсеньева, он вступил в «сознательную жизнь»?

2. Опишите приёмный экзамен в гимназию. Что спрашивали у Алёши? Знаете ли вы, кто такие амаликитяне? Как отнёсся к этому вопросу отец Алёши?

3. Опишите первый бал, на котором удалось побывать герою. Сочувствуете ли вы его переживаниям и понятны ли они вам?

1. Алексей вспоминает об иллюстрациях в тех книгах, которые он читал в детстве, – они запомнились ему на всю жизнь. Остались ли и у вас воспоминания об иллюстрациях давно прочитанных книг?

2. Согласны ли вы с Алёшей Арсеньевым, что знакомые строки «У лукоморья дуб зелёный…» так хороши, что их заслуженно можно назвать «колдовскими»?

3. Как Алёше удаётся доказать, что «Страшная месть» Н. В. Гоголя утверждает торжество справедливости? Убедил ли он вас в этом?

4. Попробуйте дать собственный комментарий к стихотворениям Пушкина, о которых говорится в тексте. Используйте опыт рассуждений, которые вы нашли на страницах произведения Бунина.

5. Оцените Алёшу как читателя. Согласны ли вы с его оценками книг и авторов?

Максим Горький (1868–1936)

Человека создаёт его сопротивление окружающей среде.

М. Горький

Как сложилась жизнь Алексея Пешкова, который впоследствии стал Максимом Горьким? Наиболее убедительно суждение писателя Евгения Замятина: «Они жили вместе – Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они были похожи друг на друга и всё-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом снова мирились и шли в жизни рядом.

Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить. Человек с самым обычным лицом русского мастерового и со скромным именем „Пешков“ был тот самый, кто выбрал для себя псевдоним „Горький“».

В послереволюционные годы Максим Горький отдавал все силы для того, чтобы спасти лучших людей нации, её ум и совесть, он не только стремится спасти невиновных, он создаёт различные учреждения, которые, с одной стороны, показывали веру в возможность расцвета культуры, а с другой стороны, спасали от голодной смерти десятки людей: издательство «Всемирная литература», Комитет исторических пьес, Дом искусств, Дом учёных. Планы Горького походили на сооружение грандиозного здания, они были рассчитаны на десятки лет. В столице, где тогда уже не было хлеба, света, трамваев, в атмосфере разрушения и катастрофы, эти затеи казались в лучшем случае утопическими. Но Горький в них верил («надо верить») и своей верой сумел заразить многих скептиков. «Мне приходилось, – пишет Е. Замятин, – встречаться с ним очень часто, и помню, я не раз с изумлением задавал себе вопрос: сколько часов в сутках у этого человека? Как у него, вечно покашливающего в прокуренные рыжие усы, наполовину съеденного туберкулёзом, хватает сил на всё…»

Но времена менялись, сил становилось всё меньше. Глубокой осенью 1921 года Горький выехал за границу. Возвратиться на Родину хотелось как можно быстрее, однако мешали самые различные обстоятельства: сложные отношения с Л. Троцким, враждебные с Г. Зиновьевым…

В 1922 году Горький завершил работу над повестью «Мои университеты» – последней книгой автобиографической трилогии.

Прошли годы. Горький несколько раз приезжал в Россию – в 1928, 1929, 1931, 1932, 1933 годах – на несколько месяцев. Один из исследователей жизни писателя пишет: «Когда уехал Горький? Горький уехал при Ленине, уехал потому, что не мог оставаться. Когда вернулся Горький? Вернулся при Сталине. Вернулся потому, что не мог не вернуться». Горькому показали, как его любят на Родине и доказали, что он необходим России как организатор литературных сил.

Писатель поверил, он был убеждён, что новая Россия строит новую жизнь, и готов встать на её защиту. 15 ноября 1930 года появляется его статья под грозным заголовком «Если враг не сдаётся, его уничтожают», она одновременно появилась в газетах «Правда» и «Известия». Этот жестокий афоризм остался надолго в памяти людей.

9 мая 1933 года. Возвращение в СССР. Интенсивная литературная и издательская деятельность: серия «Библиотека поэта», альманах «Год шестнадцатый» и др. Подготовка к писательскому съезду.

1934 год. Работа над четвёртым томом романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина», публицистическими и критическими статьями. Проведение Первого Всесоюзного съезда писателей.

18 июня 1936 года Максим Горький умер.

Е. Замятин утверждал: «Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась в жизнь – это книга, это увлекательный роман».

Мои университеты. ***В сокращении***

Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда ещё не знал, что науке можно служить в роли

кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие», – в университете мне дадут казённую стипендию, и лет через пять я буду «учёным». Всё – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты – не сердись на людей, ты сердишься всё, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а – что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не Бог людей судит, это – чёрту лестно! Прощай, ну…

И, отирая с бурых, дряблых щёк скупые слёзы, она сказала:

– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру…

За последнее время я отошёл от милой старухи и даже редко видел её, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой – концом старенькой шали – отирает лицо своё, тёмные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы; в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами – обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трёх здоровенных парней, не считая себя самоё?

Была она молчалива; в её серых глазах застыло безнадёжное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает – не вывезу, – а всё-таки везёт!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и

осторожно спросила меня:

– Вы зачем приехали?

– Учиться, в университет.

Её брови поползли вверх вместе с жёлтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

– О, чёрт…

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

– Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнёсся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

– Ах, Николай, Николай…

А он, в эту минуту, вошёл в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, весёлый.

– Мама, хорошо бы пельмени сделать!

– Да, хорошо, – согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо – плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил её поведение словами:

– Не в духе…

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным учёным, кажется – швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренне желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб

серьёзно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, ещё менее чувствовал это его брат, тяжёлый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принуждённой ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зёрна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, – я всё более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни – тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголённо жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, ещё более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

– Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь – всё её достояние, а тебе – только хомут. Честен бык,

так он – сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котёнка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».

– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

– Баба, баба! – выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на всё пойду. Для неё, как для чёрта, – нет греха! Живи влюблён, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространённая песня:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берёт
Девушку за это…

Хорошо относился ко мне тёмный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

– Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.

– Что значит – духовный?

– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство…

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

«Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свияжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идёт, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без

конца песня: о-о-о-у-у-у…

…И вот пришла она, лёгкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах – обманная чистота души. „Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя“. Знаю – врёт, а верю – правда! Умом – твёрдо знаю, сердцем – не верю, никак!»

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

– Этот царь в своём деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под тёмным небом с тусклыми звёздами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в чёрную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колёс пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьёт молот по железу, заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И ещё грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своём, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

– А вот со мной был случай, – говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

– Бывает и так, – всё бывает…

«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, – всё уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но всё-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошёл с ними. Оскорблённая надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречён. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьёзных книг – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем всё, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнёв. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких чёрных точках, точно натёртым порохом, неугасимо весёлый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьём музыки, любя её, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, – всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нём шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, весёлой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это – всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жёсткой рыжеватой

шерстью, едва прикрытый грязным тряпьём; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и рёбра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:

– Хлеба!

В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

– К чёрту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

– Эвклид – дурак! Дур-рак… Я докажу, что Бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет – исходя от математики – доказать бытие Бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского

учителя, не получил бы места – по возрасту.

Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я – ночами, он – днём. Измятый бессонной ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щёк жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын её был уже студент на третьем курсе, дочь – кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в тёмных ямах, одета она в чёрное платье, в шёлковую старомодную головку, в её ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зелёного цвета. <…>

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей,

давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнёв ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или варёной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. В нём стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актёр, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

«Зачем всё это?»

Среди голодной молодёжи бестолково болтался рыжий, плешивый, скулатый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

– Жив быть не хочу, а – разорю их вдребезги! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»

– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.

– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свёртков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые тёмно-рыжие пятна, – выпив, он завывал:

– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а…

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щёк ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных

пятнах.

– Как вы живёте? – кричал он. – Голод, холод, одёжа плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живёте…

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

– Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

– Да это – не вам! Это – студентам.

Но студенты денег не брали.

– К чёрту деньги! – сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принёс Плетнёву пачку десятирублёвок, смятых в твёрдый ком, и сказал, бросив их на стол:

– Вот – надо? Мне – не надо…

Лёг на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно – они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орёт всех громче. Я спрашиваю его:

– Зачем вы живёте здесь, а не в гостинице?

– Милый – для души! Тепло душе с вами…

Сын скорняка подтверждает:

– Верно, Конь! И я – тоже. В другом месте я бы пропал…

Конь просит Плетнёва:

– Сыграй! Спой…

Положив гусли на колени себе, Гурий поёт:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное…

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

– Хорошо, чёрт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнёв, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что

исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже – боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной, на последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это – старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шёл он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимою в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их – а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и ещё кого-то – за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов, днём, в воскресенье, пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в «Марусовке» был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал Блуждающей Колокольней. Утром, узнав об этом, Гурий возбуждённо растрепал свои чёрные волосы и сказал мне:

– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее…

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики…

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в тёмной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

– Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

– У нас – есть, а для тебя – нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову

над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумлённо и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

– Ступай, ступай…

Ещё раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу.

– Вы – Тихон?

– Ну, да!

– Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

– Какого это Петра?

– Длинный, похож на дьякона.

– Ну?

– Больше ничего.

– А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? – спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было моё первое участие в делах «конспиративных».

Гурий Плетнёв был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел говорил:

– Тебе, брат, рано! Ты – поучись…

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьёзного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

– Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: «Я приезжий…»

Таинственное – всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный, яркий день, в поле серою былинкой качается одинокий человечек, – вот и всё. Догнав его у ворот кладбища, я увидал пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены чёрными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нём было что-то преждевременно ощипанное, – как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расстались, – он ушёл первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили ещё трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Джон Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского, – впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством, – как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для «равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придёт, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя; едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул её наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди; они говорят смешно искажённым русским языком; по вечерам с высоких минаретов их зовут в

мечети странные голоса муэдзинов, – мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце моё; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождём. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

– Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в чёрную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

– Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С Богом – начинай!

И тяжёлые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, – с гиком, рёвом, с прибаутками. Вокруг меня с лёгкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжёлые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались чёрные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырёхпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине.

Работали играя, с весёлым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддёвке, мокрый, скользкий, – должно быть, хозяин груза или доверенный его, – вдруг заорал возбуждённо:

– Молодчики – ведёрко ставлю! Разбойнички – два идёт! Делай!

Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули:

– Три ведра!

– Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы ещё усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и всё вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, – месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут ещё ветер разодрал тяжёлую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца – его встретили дружным рёвом весёлые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлечённых ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъярённой силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжёлой толщи облаков и утонул среди них, как ребёнок в море, а дождь превратился в ливень.

– Шабаш! – крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

– Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождём и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошёл вор Башкин, осмотрел меня испросил:

– Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно:

– Дурак. И – хуже того – идиёт!

Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, – за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню:

Эх, было это дельце ночною порой, —
Вышла прогуляться в садик барыня – эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,
Видит – барыня лежит…

Хохот, свист, и гремят слова, которым, по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на земле. <…>

Вопросы и задания

1. Что меняется в понимании окружающей жизни Алёшей Пешковым с каждым новым днём, с каждым новым событием? Чем это вызвано? Как вы объясняете это для себя?

2. Влияние какого человека на Алёшу Пешкова было самым сильным?

3. Опишите одного из тех, кто, по вашему мнению, определил дальнейшую жизнь Алёши.

4. Найдите описание труда на барже. Какую оценку восторженному рассказу Алёши об этом труде дал вор Лапшин? Что вы могли бы ему ответить? Возникло ли у вас желание ему возразить?

1. Горький утверждал, что «человека создаёт его сопротивление окружающей среде». Докажите это, пользуясь текстом повести.

2. Объясните смысл названия повести, опираясь на свидетельство одного из современников: «За полудетское революционное озорство я был уволен из гимназии и не без гордости рассказал об этом Горькому.

– Молодчага, – одобрил он, – так ты, пожалуй, скоро и в университет попадёшь.

Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры с решётками на окнах, и прибавил:

– Этот будет почище!

Заглавие его будущей книги было произнесено».

3. Каким вы представляете себе автора повести – Алексеем Пешковым или Максимом Горьким? Важно ли для вас это различие?

Александр Александрович Блок (1880–1921)

Сладкозвучие его лирики было чрезмерно… В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им заключалось… очарование Блока…

К. И. Чуковский

«Трагический тенор эпохи» – назвала Блока Анна Ахматова, определив этим две важные стороны его мироощущения: трагическое начало и необычайное, музыкальное чувство времени.

Благородство и красота были присущи внутреннему и внешнему облику Блока. «…Красивый, стройный юноша, со светлыми вьющимися волосами, с большими мечтательными глазами и с печатью благородства во всех движениях» – таким остался он в памяти А. И. Менделеевой, матери его будущей жены. Почти все, знавшие его, отмечали необычность, романтичность его облика.

Два места в России были поэту родиной: Петербург («город неуловимый»), где он родился 16 ноября 1880 года, и подмосковное Шахматово. «Шахматовские просторы и стали колыбелью любви поэта к Родине», – писала М. А. Бекетова, его тётя и будущий биограф.

Духовный мир Блока формировался в семье, хранившей культурные традиции русской интеллигенции: дед А. Н. Бекетов, «отец русской ботаники», был ректором Петербургского университета, мать А. А. Блок и бабушка Е. Г. Бекетова, широко образованные женщины, занимались переводами. «Прекрасная семья. Гостеприимство стародворянское, думы – светлые, чувства

– простые и строгие», – пишет Блок в «Автобиографии». Жуковский, Полонский, Майков, Фет, А. К. Толстой были его первыми духовными учителями. «Сочинять я стал чуть ли не с пяти лет», – вспоминает поэт.

Начало XX века. Московские молодые поэты А. Белый, Вяч. Иванов, С. Соловьёв восторженно приняли стихи А. Блока. «Все события, – писал поэт Валерий Брюсов, – всё, происходившее вокруг, эти юноши воспринимали как таинственные символы, как прообразы чего-то высшего, и во всех явлениях повседневной жизни старались разгадать их мистический смысл».

В 1904 году увидела свет книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Таинственный образ Вечной Женственности (влияние поэта и философа Вл. Соловьёва), полная драматизма любовь к Л. Д. Менделеевой, будущей жене, «мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века», – всё это воплотилось в лирических произведениях сборника.

В поэтический мир Блока со временем входят новые темы, новые образы: поэт откликается на общественные события (стихотворения «Фабрика», «Сытые»). Чуткость его поэзии ко времени была необычайна.

В период между двумя революциями созданы наиболее значительные произведения поэта: стихотворения «Незнакомка», «Заклятие огнём и мраком…», «На железной дороге», «Россия», цикл «На поле Куликовом» и другие, поэма «Соловьиный сад», ряд публицистических и критических статей.

Для стихов Блока становятся характерны тревожные ритмы. Тема столкновения героя, носителя светлых идеалов, со страшным миром действительности, в котором не дано торжествовать добру, свету и гуманизму, – главная в творчестве поэта на исходе 900-х годов.

Спасительным полюсом для поэта была Россия. Образ России проявляется в стихах Блока постепенно: она будто открывает то один свой лик, то другой. Но одно сильное чувство пронизывает весь поэтический мир – безоглядная любовь к Отечеству. Это проявляется уже в первых стихах о России («Осенняя воля», «Россия»). Родина для Блока всё – «жизнь или смерть, счастье или погибель».

Ожидание очистительной бури, сметающей старый, ненавистный поэту мир, определило отношение Блока к революции: «Всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию».

Откликом на события 1917 года явилась поэма «Двенадцать», а вслед за ней стихотворение «Скифы», главное содержание

которого составляет мысль о революции как знаке «мира и братства народам».

Последние годы жизни поэта были драматичны: он выглядел бесконечно усталым и надломленным. Кровью сердца купил Блок своё понимание революции как сжигающей стихии. Он осознавал – если у поэта отнимают «творческую волю, тайную свободу», то «поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Да, я дышу ещё мучительно и трудно.
Могу дышать. Но жить уж не могу.

Девушка пела в церковном хоре…

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.

Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздаётся детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моём стакане отражён
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирён и оглушён.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»[7] кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за тёмную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склонённые
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

О доблестях, о подвигах, о славе…

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твоё лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…

Уж не мечтать о нежности, о славе,

Всё миновалось, молодость прошла!
Твоё лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

О, я хочу безумно жить…

О, я хочу безумно жить:
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи…

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слёзы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит

Твои прекрасные черты…

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,

Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

На железной дороге

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон…

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие,
В зелёных плакали и пели.

Вставали сонные за стёклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми,
Её, жандарма с нею рядом…

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною…
Скользнул – и поезд вдаль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая…
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая…

Да что – давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов…

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей – довольно;
Любовью, грязью иль колёсами
Она раздавлена – всё больно.

Вопросы и задания

1. Чему посвящено стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе…»? Как соотносится первая строка с темой стихотворения?

2. Прочитайте стихотворение «О, я хочу безумно жить…». Какие чувства и желания являются для поэта самыми волнующими, сокровенными? Какие принципы, по убеждению Блока, должны быть определяющими для искусства, творчества?

3. Как удаётся Блоку передать чувство любви к Родине в стихотворении «Россия»?

4. Какие два лика России созданы в одноимённом стихотворении Блока? Как определяет поэт своё отношение к Родине?

1. С каким некрасовским стихотворением перекликается стихотворение «На железной дороге»? Почему стихотворение «На железной дороге» входит в цикл «Родина»?

2. Попытайтесь определить термин «музыкальность», характеризующий поэзию Блока. Какие изобразительно-выразительные средства поэтической речи способствуют созданию «музыкального стиха»?

1. Сравните женские образы в стихотворениях «Девушка пела в церковном хоре…» и «Незнакомка».

2. Почему некоторые исследователи рассматривают стихотворение «О доблестях, о подвиге, о славе…» как поэтическую параллель пушкинского стихотворения «Я вас любил…»? С помощью каких художественных средств создаётся Блоком женский образ? Какова символика синего цвета в стихотворении?

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966)

На шее мелких чёток ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шёлка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая чёлка.

И непохожа на полёт
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыхание,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Этот портрет, написанный с большим сходством в 1913 году, принадлежит самой Анне Андреевне Ахматовой. Вместе с другими её изображениями, созданными известными художниками, он зрительно дополняет представление о «златоустой Анне всея Руси», как называла её М. Цветаева.

В автобиографии Ахматова лаконично отмечает наиболее важные моменты своей жизни: первые воспоминания о

великолепных царскосельских парках, сильное впечатление, оставленное древним Херсонесом, обучение чтению по азбуке Льва Толстого, первое стихотворение, написанное в одиннадцать лет, первое знакомство с русской поэзией – поэзией Державина и Некрасова. Потом уже открылся Пушкин, беззаветная любовь и удивление им прошли через всю её жизнь.

Одно из ранних стихотворений Ахматовой обращено к Пушкину и Царскому Селу, где она провела своё детство и юность.

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озёрных, глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.

Там она познакомилась со своим будущим мужем Николаем Гумилёвым, тоже учившимся в Царскосельской гимназии.

Ряд стихотворений в первых сборниках Ахматовой «Вечер» (1911) и «Чётки» (1914) навеяны её чувствами к Гумилёву.

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой весёлый.
Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебедёнок,
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

После революции творческая судьба Ахматовой сложилась драматично. В начале 20-х годов были опубликованы две книги стихов: «Подорожник» (1921) и «Anno Domini» (1922). О сборнике «Anno Domini» замечательно отозвался литературовед Виктор Шкловский: «Это как будто отрывки из дневника. Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи. Мне кажется, я выдаю чью-то тайну».

С 1924 года её стихотворения перестали печатать вплоть до 1939 года, а изданные произведения подвергались

необоснованной критике. Долгое время в печати не появлялись ни новые, ни старые ахматовские стихи. Она занималась в эти годы изучением творчества Пушкина, архитектурой Петербурга, переводами.

Затем наступила следующая эпоха творческих репрессий.

Поэт Михаил Дудин вспоминает: «…в её жизни было много тяжёлого, трагического… Но никогда, ни в одной из её книг я не находил отчаяния и растерянности. Никогда не видел её с поникшей головой. Она всегда была прямой и строгой, была человеком воистину неземного великого мужества… Души высокая свобода, которой она обладала, давала ей возможность не гнуться под любыми ветрами клевет и предательств, обид и несправедливостей».

И только на рубеже 50–60-х годов поэтическое имя Ахматовой было реабилитировано в общественном мнении. В 1964 году она удостоена международной премии «Этна-Таормина» в Италии, в 1965 году получила докторскую степень в Оксфорде. В «Беге времени» (1965), последнем прижизненном сборнике Ахматовой, впервые относительно полно представлено её позднее творчество. Немало произведений увидели свет лишь в конце 80-х годов.

Анна Андреевна Ахматова создала удивительную лирическую систему в русской поэзии, соединив своим творчеством новую поэзию XX века с великой поэзией XIX столетия.

Сжала руки под тёмной вуалью…

Сжала руки под тёмной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдёшь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!

Между клёнов шёпот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на тёмный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-жёлтым огнём.

Сероглазый король

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашёл
И на работу ночную ушёл.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки её погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»

Он любил три вещи на свете…

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стёртые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

Уединение

Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей её благодарю,
Пусть их забота и печаль минует.
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
И часто в окна комнаты моей
Влетают ветры северных морей,
И голубь ест из рук моих пшеницу…
А недописанную мной страницу —
Божественно спокойна и легка,
Допишет Музы смуглая рука.

Муза

Когда я ночью жду её прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Родная земля

И в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.

1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем её в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чём не замешанный прах.
Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно – своею.

Вопросы и задания

Прочитайте стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Сероглазый король». Каким настроением проникнуты эти стихи? Какие художественные приёмы использует автор?

1. Прочитайте строки из записных книжек Ахматовой, в которых говорится о назначении и месте поэта в обществе: «Но в мире нет власти грозней и страшней, Чем вещее слово поэта»; «Поэт не человек – он только дух – Будь слеп он, как Гомер, иль, как Бетховен, глух – Всё видит, слышит, всем владеет…»

Каким Ахматова видит предназначение поэта?

2. Прочитайте стихотворения «Уединение», «Муза». Каким вы видите образ Музы в поэзии Ахматовой?

3. Прочитайте стихотворение «Родная земля». Определите его тональность. Какие мотивы вы можете выделить в этом стихотворении? Какие разные значения слова «земля» звучат в

нём? Какая тема обозначена в последних строчках?

4. Что значит любовь для лирической героини Ахматовой?

1. К. Чуковский писал: «Тихие, еле слышные звуки имеют для неё неизречённую сладость. Главное очарование её лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намёков, многозначительных пауз. Её умолчания говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства, она пользуется мельчайшими, почти неприметными, микроскопически малыми образами, которые приобретают у неё на страницах необыкновенную силу». Выскажите ваши впечатления от знакомства с лирикой Ахматовой.

2. Поэт Михаил Кузмин назвал поэзию Ахматовой «острой и хрупкой». Как вы поняли это определение?

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)

Есенинская любовь к родной земле естественна, как дыхание. Она – свет, который изнутри освещает почти каждое его стихотворение в отдельности и всю его поэзию в целом. Это не просто чувство – это философия жизни, краеугольный камень его миропонимания. Это его опора, источник, где он черпал силу.

С. П. Кошечкин

Сергей Есенин родился в деревне Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Мир народнопоэтических образов окружал его с первых дней жизни. Рязанская земля была страной его детства. И костёр зари, и плеск волн, и шелест тростника, и необъятная небесная синь, и голубая гладь озёр – вся красота родного края с годами отразилась в стихах, полных любви к русской земле:

О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску…

Первые стихотворные строки были написаны в школьные годы, а в 1916 году вышел в свет его поэтический сборник «Радуница».

Поэт считал, что его литературная дорога началась «с лёгкой блоковской руки». «Был он для меня словно икона… Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привёз вам мои стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет». В дневнике Блока 9 марта 1915 года появилась запись: «Днём у меня рязанский парень со стихами. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык».

В 1915–1916 годах Есенин создаёт стихи, в которых воплотились важнейшие черты всей его лирики: бесконечная любовь к России и родной Рязанщине, чувство общности со всем живым на земле.

Октябрьскую революцию поэт принял, как он сам признавался, «с крестьянским уклоном». Поэта захватывает вихревое начало, вселенский, космический размах событий, грядущие изменения в России. «Весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрём», – вспоминал позже поэт Пётр Орешин. Художественный стиль Есенина этого времени отмечает высокая патетика, метафоричность образов. Стремясь отозваться на революционные события, он обращается к мифологии, библейским легендам.

Однако довольно скоро Есенин начал понимать: ни космической революции, ни мужицкому раю не суждено осуществиться. В одном из писем поэта 1920 года читаем: «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжёлую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идёт совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нём живому». Эти настроения со временем усиливаются.

Высшим смыслом, стержнем лирики Есенина явилась тема России. «Моя лирика жива одной большой любовью к родине. Чувство родины – основное в моём творчестве», – говорил Есенин.

В трудные для Есенина дни, чтобы лучше понять настоящее, он обращается к тем событиям прошлого, которые кажутся ему созвучными настоящему времени. Так, в 1921 году написана драматическая поэма «Пугачёв», в которой создан образ мужицкого бунтаря, а в 1924 году во многом автобиографическая поэма «Анна Снегина», лирическая струя которой входит в широкую историческую тему. Под поэмой «Чёрный человек» стоит дата «14 ноября 1925» – немногим более месяца осталось жить поэту. Поэма, по признанию её автора, написана под влиянием маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (где, как известно, пришедший к Моцарту незадолго до его смерти чёрный человек заказывает композитору реквием).

Стихотворения последних лет жизни наполнены трагическим пафосом. Один из современников вспоминал о вечере 1924 года, где выступал Есенин: «Стихи его ударяли по сердцам лихостью отчаяния, бились безысходной нежностью и безудержной решимостью защищать кулаками и кровью своё право на печаль, песню и гибель».

Гой ты, Русь, моя родная…

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и мёдом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за косогором
На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стёжке
На приволь зелёных лех,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Я покинул родимый дом…

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клён
Головой на меня похож.

Не жалею, не зову, не плачу…

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты всё реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Отговорила роща золотая…

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.

Низкий дом с голубыми ставнями…

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня ещё мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые стареньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Всё равно не могу научиться,
И под этим дешёвеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года…
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

Я иду долиной. На затылке кепи…

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синеет тихая река.

Я – беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни – сердцем подпевать,
Только бы струилась лёгкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы, —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь долы, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —
Но косой выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К чёрту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочём мне ямы, нипочём мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках – песня, в этих строчках – слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату тёплым молоком.

Спит ковыль. Равнина дорогая…

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольёт мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живётся на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Всё равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и всё же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Всё любя, спокойно умереть!

Вопросы и задания

▶**1.** Какой образ Руси возникает в стихах поэта? Почему стихотворения последних лет носят трагический оттенок?

2. Каков лирический герой есенинской поэзии? Как в нём сочетаются «смиренный инок» и «грешник», «бродяга и вор»?

▶▶**1.** С помощью каких художественных приёмов Есенин даёт почувствовать красоту и животворящую силу природы?

2. Проанализируйте стихотворение «Отговорила роща золотая…». Какие образы созданы в стихотворении?

3. Как использует Есенин изобразительные средства языка для создания поэтических образов?

4. В каких стихотворениях, прочитанных вами, поэт размышляет о земном пути человека?

▶▶▶**1.** По свидетельству С. А. Толстой, С. Есенин написал стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» под влиянием одного из лирических отступлений «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя, которое заканчивалось словами:

«…что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчанье хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!» Выскажите ваше суждение о том, как связаны размышления писателя и поэта.

2. Литературовед К. А. Кедров отмечает три основных цвета в поэзии Есенина: алый, синий, золотой. Покажите использование этих цветов и раскройте их символическое значение.

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930)

Я – поэт, тем и интересен.

В. В. Маяковский

Маяковский родился и вырос в Грузии. После смерти отца семья переехала в Москву, с которой связана почти вся творческая жизнь поэта.

С момента своего появления в кругу поэтов Маяковский возмущал, волновал, потрясал. Вот как воспринял первую встречу с ним один из современников поэта, Б. Лифшиц: «…пришёл высокого роста темноглазый юноша… Одетый не по сезону в чёрную морскую пелерину со львиной застёжкой на груди, в широкополой чёрной шляпе, надвинутой на самые брови, он

казался членом сицилианской мафии, игрою случая заброшенным на петербургскую сторону.

Его размашистые, аффектированно резкие движения, традиционный для всех оперных злодеев басовый регистр ещё усугубляли сходство двадцатилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки или с анархистом-бомбометателем… Однако достаточно было заглянуть в умные, насмешливые глаза… чтобы увидеть, что всё это – уже поднадоевший „театр для себя“, которому он, Маяковский, хорошо знает цену и от которого сразу откажется, как только найдёт более подходящие формы своего утверждения в мире».

М. Горький, впервые увидев и услышав Маяковского в кафе «Бродячая собака» в Петрограде, сказал: «Зря разоряется по пустякам! Такой талантливый! Грубоват? Это от застенчивости…»

Все произведения Маяковского – это рассказ о времени и о себе. Необычность содержания, ошеломляющая новизна формы потрясали не только современников, они и сейчас вызывают противоречивые отзывы читателей. Непросто войти в мир образов поэта, проникнуться его надеждами и горестями. Он может быть близок своим неприятием циничного и пошлого мира, искренностью соучастия ко всему, что происходит вокруг, силой и яростью отстаивания своих взглядов, сокрушительной силой любви.

Маяковский мог быть несправедливым, он бывал даже резким в своих суждениях, но всегда был искренен и абсолютно индивидуален каждой своей строкой, каждым своим словом.

Встреча с поэзией Маяковского – встреча с чем-то необычным. Его творчество – явление в мире искусства. Лирические стихотворения, поэмы, пьесы, плакаты в окнах РОСТА – это то, что дано поэту талантом и кропотливой изнурительной работой.

Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу,
боится, что опоздал,
плачет,

целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянётся —
не перенесёт эту беззвёздную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»

Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Вопросы

Что должны услышать читатели в стихотворении? Могли бы вы назвать героев этого стихотворения?

Можно ли считать, что «кто-то» – это и есть лирический герой стихотворения, а звёзды – воплощение его мечты?

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издёргалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушёл.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,

без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришёл к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

Вопросы и задания

1. Каких героев стихотворения вы можете назвать?

2. Почему геликон назван «меднорожим»? (*Геликон* – басовый медный духовой инструмент.) Как вы представили себе этого героя?

3. Анализируя прочитанные стихотворения Маяковского,

определите общность тем и настроений.

⏩Выразите свои впечатления, возникшие при первом знакомстве с этими стихотворениями (необычность названий, образов, ритмики).

⏩⏩**1.** Попробуйте доказать, что оба стихотворения созданы молодым поэтом примерно в одно время.

2. Оркестр, некоторые инструменты которого названы в стихотворении, – коллективный свидетель лирической сценки. Сходная ситуация возникает в баснях. Почему мы утверждаем, что перед нами лирическое стихотворение?

Нередко в лирике Маяковского звучит тема трагического одиночества. Это чувство вызывало стремление найти единомышленников, подчинить себе аудиторию многочисленных митингов и поэтических концертов, привлечь тех, кто хотел бы стать рядом. Маяковский стремился быть «горланом-главарём», он искал и покорял слушателей. Вот как К. Чуковский описывает встречу Маяковского с художником И. Репиным. «…Репин, присев к столу, просит, чтобы Маяковский продолжил своё чтение… Маяковский начинает своего „Тринадцатого апостола“ (так называлось тогда „Облако в штанах“) с первой строки. На лице у него вызов и боевая готовность…

Я жду от Репина грома и молнии, но вдруг он произносит влюблённо:

– Браво, браво!..

„Тринадцатый апостол“ дочитан до последней строки. Репин просит: „Ещё“. Маяковский читает и „Кофту фата“, и отрывки из трагедии, и своё любимое „Нате!“»:

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир…

Репин восхищается всё жарче. «Темперамент! – кричит он. – Какой темперамент! И, к недоумению многих присутствующих, сравнивает Маяковского с Мусоргским…»

Молодой Маяковский был опытным оратором и полемистом. Выступая с чтением своих произведений, отстаивая свои позиции, он щедро использовал каламбуры и экспромты, эпиграммы и остроты. Некоторые из них запомнились современниками:

«– Маяковский! Вы считаете себя пролетарским поэтом-коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.

– А как вы думаете, Николай Второй был коллективистом? Он

всегда писал: „Мы, Николай Второй…“»

«– Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас скоро забудут. Бессмертие не ваш удел.

– А вы зайдите через тысячу лет. Там поговорим».

В 20-е годы поэт со всей своей неукротимой энергией борца стал участником коренного переустройства общества. Голос Маяковского воспевает «коммуну во весь горизонт» и в то же время сатирически остро клеймит недостатки и пороки, которые поэт видит вокруг.

Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождём дела бумажные,
чуть войдёшь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные!
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришёл товарищ Иван Ваныч?»
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъярённый,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснёшь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
ещё
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

Вопросы и задания

Опишите блуждания героя этого стихотворения в бюрократическом мире. Сколько сценок рисует поэт, описывая это

трагикомическое путешествие?

1. В стихотворении «Прозаседавшиеся» есть слова и выражения, которые тесно связаны со временем его создания, но есть и такие, которые имели давнюю традицию использования в речи. Определите, какие из приведённых ниже слов вы отнесёте к каждой из групп.

Аудие́нция – официальный приём у высокопоставленного лица.

Со времени о́на – с давних пор.

Тео – театральный отдел Народного комиссариата просвещения.

Гукон – Государственное управление конезаводством.

Оря́ – деепричастие от глагола «орать».

2. Какие названия существовавших тогда учреждений использовал поэт? Можно ли считать, что эти названия – сатирические образы стихотворения?

3. Попробуйте объяснить, как возникло название таинственного учреждения: «А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-ком».

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940)

Проза и драматургия для меня –
правая и левая рука пианиста.

М. А. Булгаков

Михаил Булгаков точно определил пропорции в своём творчестве – он равно тяготел и к прозе, и к драматургии. Столь же чётко определил он начало своего творческого пути: 15 февраля 1920 года. Когда врач Булгаков окончательно решил стать писателем, ему было 28 лет.

Судьба будущего писателя вначале складывалась счастливо. Благополучное детство в дружной семье. Дом на Андреевском спуске в Киеве, шкафы с книгами – это то, что он прежде всего вспоминал о родном доме.

Жизненные испытания не изменили взгляда Булгакова на жизнь: внимательного, зоркого, строгого. Отец рано умер, и Миша в 16 лет остался старшим мужчиной в доме, первая его специальность заставила столкнуться с тяжёлыми сторонами жизни человека в сельской больнице села Никольское Смоленской губернии. Вернувшись в Киев, он продолжает работать врачом. Но врач видел мир глазами будущего писателя:

недаром он с девяти лет зачитывался Гоголем, а в семь лет сочинил свой первый рассказ.

После трудных месяцев в Киеве, после службы по мобилизации во Владикавказе Булгаков решает круто изменить свою судьбу: он становится писателем. Когда во Владикавказе в феврале 1920 года начала выходить газета «Кавказ», в списке её сотрудников значился М. Булгаков.

События этих лет живут на страницах его автобиографической прозы.

В «Записках на манжетах» в части, названной «Москва», Булгаков пишет о поисках своего места в литературе. Убедиться в этом можно, прочитав главу, которая названа очень решительно «После Горького я первый человек».

Для судьбы целой плеяды ярких и самобытных писателей чрезвычайно полезной оказалась работа в газете железнодорожников «Гудок». «Тогда Булгаков был рядовым газетным фельетонистом», – вспоминает Валентин Катаев, среди сотрудников газеты были И. Ильф и Е. Петров, Ю. Олеша, К. Паустовский. Они, прежде чем утвердиться в рядах писателей, «низвергали авторитеты», а «синеглазый», как называли Булгакова, строго их за это отчитывал, что, впрочем, не мешало дружбе.

Булгаков много пишет, активно входит в литературную среду, читает на литературных вечерах свои произведения.

Можно считать, что в жизни Булгакова 1925–1929 годы – относительная полоса удач. Писателя заметили. Однако и это время не было безоблачным. 7 мая 1926 года на квартире писателя был произведён обыск: изъяты машинописный вариант повести «Собачье сердце» и личный дневник, которые были возвращены лишь через несколько лет.

Повесть появилась в печати сначала за границей – в 1968 году, а в России – в 1987 году. Но несмотря на такой долгий срок от момента создания, она очень быстро стала популярной, как и инсценировки и кинофильм по её сюжету.

Несложный фантастический сюжет рисует главного героя – Шарикова на фоне панорамы эпохи и создаёт яркий очерк её героев и событий.

Начиная с 1929 года и по день смерти – в течение 11 лет Булгаков не увидел ни одной напечатанной своей строчки, хотя продолжал создавать новые произведения. Главным из них был роман «Мастер и Маргарита».

Вопросы и задания

1. Какие прозаические произведения Булгакова вам знакомы?

2. Среди ранних произведений Булгакова есть «поэма в десяти пунктах с прологом и эпилогом» «Похождения Чичикова». Вы помните, что поэма Гоголя названа «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». О чём может говорить различие названий произведений Гоголя и Булгакова?

1. На сцене многих театров шли и идут сейчас пьесы и инсценировки произведений Булгакова: «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», «Кабала святош (Мольер)», «Последние дни (Пушкин)», «Полоумный Журден» (Мольериана в трёх действиях), «Багровый остров», «Собачье сердце» и другие. Какие из них вам удалось посмотреть? Как вы их восприняли?

2. Какие прозаические произведения Булгакова были переработаны для постановки на сцене? Какие из них вы видели? «Собачье сердце» было создано в телевизионном варианте и в нескольких сценических постановках. Как вы объясняете популярность этого произведения в наше время?

3. Известно, что Булгаков инсценировал многие прозаические произведения.

«Мёртвые души». Комедия по поэме Н. В. Гоголя в четырёх актах (двенадцать картин с прологом).

«Дон Кихот». Пьеса по роману Сервантеса в четырёх действиях, девяти картинах.

«Война и мир». Инсценированный роман Л. Н. Толстого в четырёх действиях (тридцать сцен).

Премьера «Мёртвых душ» состоялась во МХАТе в 1932 году, «Дон Кихот» был поставлен в Государственном академическом театре им. А. С. Пушкина в Ленинграде в 1941 году. «Война и мир» на сцене не ставилась. Попробуйте обосновать выбор произведений для создания инсценировок.

Собачье сердце. *Фрагменты*

Глава I. Рассказ начинается необычно – до читателя доносится собачий вой «-У-у-у-у-у-гу-гу-гу! О, гляньте на меня – я погибаю!..» – это «монолог» уличного пса, ошпаренного злым поваром.

События развёртываются на зимней московской улице в конце 20-х – начале 30-х годов XX века.

«Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула. И из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже, „вернее всего“, господин. Ближе – яснее – господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и

из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам, тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра…»

Монолог бродячего пса продолжается вплоть до того момента, когда ассистент профессора Преображенского доктор Борменталь доставляет его в квартиру на Пречистенке. Пса ждёт *преображение* и необычная судьба.

Вопросы и задания

1. Что стало причиной удивительной судьбы бродячего пса?

2. Почему в монологе бродячего пса так обстоятельно рассматриваются и оцениваются слова «гражданин», «товарищ», «господин»? Почему их толкование и оценка важны для понимания эпохи?

Глава II. Эта глава повествует о жизни профессора-экспериментатора, о его посетителях, о неожиданном визите председателя домкома Швондера с его партийной командой.

Жаждущие омоложения состоятельные богачи и партийные деятели, которые активно используют медицинские услуги профессора, нарисованы резким сатирическим пером. Не менее выразительны и деятели «местного значения» из окружения домкома.

Итак, читатель допущен к наблюдению за подготовкой эксперимента профессора. Для эксперимента нужен биологический материал – мозг только что погибшего человека. Пока этого материала нет, бродячий пёс, который и будет объектом предстоящего опыта, живёт в квартире профессора.

Ожидание главного события рассказа помогает читателю внимательно наблюдать за бытом героев и оценить общий фон эпохи.

Глава III продолжает описание жизни профессора и его окружения в восприятии Шарика. Эту жизнь портила невоспитанность дворняжки. Ожидание завершается, когда профессор получает нужный материал – погиб уголовник, мозг которого позволит осуществить эксперимент.

Глава IV меняет судьбу Шарика. Но фантастическая операция, которая должна была сделать его моложе, вместо этого превращает бродячего пса в человека.

Глава V содержит записи, которые фиксируют этапы изменения подопытного существа после операции. Не случайно их потом будет старательно уничтожать Борменталь.

Записи ведутся день за днём. В обновлённом существе активно действует мозг погибшего уголовника, и оно быстро возвращается к жизни, воскрешая особенности взглядов и привычек этого человека. Итак, операция принесла псу не омоложение, на что рассчитывал профессор, а **очеловечивание**, при котором возвращаются к жизни все черты хозяина мозга. Этапы этого фантастического преображения фиксировал дневник записей Борменталя.

Сюжет о неудавшемся эксперименте развивается на фоне панорамы быта и нравов эпохи, ему сопутствует галерея порождённых ею типажей. И Полиграф Полиграфович Шариков предстаёт как один из этой галереи узнаваемых героев, как фигура типичная для эпохи, которая вот-вот станет рядом с другими запоминаемыми художественными образами.

Глава VI

6

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприёмное время. На притолоке у двери в приёмную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича:

«Семечки есть в квартире запрещаю

Ф. Преображенский».

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукою Борменталя:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».

Затем рукою Зины:

«Когда вернётесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю – куда он ушёл. Фёдор говорил, что со Швондером».

Рукою Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукою Дарьи Петровны (*печатно*):

«Зина ушла в магазин, сказала, приведёт».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под вишнёвым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам, – зеркальные стёкла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развёрнутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорождённый (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша

псевдоучёная буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами.

Шв…р».

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

– Све-е-етит месяц… светит месяц… светит месяц… Тьфу прицепилось, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

– Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на выкорчёванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человечка был повязан ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах» – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели «пять». Внутри них ещё что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

– Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне, тем более днём?

Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкою, и ответил:

– Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

– Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстухе.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

– Что ж… «гадость»? – заговорил он, – шикарный галстух. Дарья Петровна подарила.

– Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные бо-тинки, а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

– Я ему велел, чтоб лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий – все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

– Спаньё на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете! Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

– Ну, уж и женщины! Подумаешь! Барыни какие! Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши! Это всё Зинка ябедничает!

Филипп Филиппович глянул строго:

– Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

– Понятно, я вас спрашиваю?

– Понятно.

– Убрать эту пакость с шеи. Вы… ты… вы посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи! Балаган какой-то! Окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной все разговоры прекратить! Она жалуется, что вы в темноте её подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пёс его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

– Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

– Кто это тут вам «папаша»? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

– Да что вы все… то не плевать, то не кури… туда не ходи… Что уж это, на самом деле, чисто как в трамвае? Что вы мне жить не даёте? И насчёт «папаши» – это вы напрасно! Разве я просил мне операцию делать? – человек возмущённо лаял. – Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются! Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек взвёл глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить!

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» – пролетело у него в голове.

– Как-с, – прищуриваясь, спросил он, – вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мёрзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!..

– Да что вы всё попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал! А если бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?

– «Филипп Филиппович»! – раздражённо воскликнул Филипп Филиппович, – я вам не товарищ! Это чудовищно! – «Кошмар, кошмар», – подумалось ему.

– Уж, конечно, как же… – иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с! Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили! Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет своё право…

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжёванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!». Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

– Пальцами блох ловить! Пальцами! – яростно крикнул Филипп Филиппович, – и я не понимаю, откуда вы их берёте?

– Да что уж, развожу я их, что ли? – обиделся человек, – видно, блоха меня любит, – тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей лёгкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошёл и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое

удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

– Какое дело ещё вы мне хотели сообщить?

– Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передёрнуло.

– Хм… Чёрт… Документ! Действительно… Кхм… Да, может быть, без этого как-нибудь можно? – голос его звучал неуверенно и тоскливо.

– Помилуйте, – уверенно ответил человек, – как же так без документа? Это уж – извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, домком!

– При чём тут этот домком?

– Как это при чём? Встречают, спрашивают, когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

– Ах, ты, Господи, – уныло воскликнул Филипп Филиппович, – «встречаются, спрашивают»… Воображаю, что вы им говорите! Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам!

– Что я, каторжный? – удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. – Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова! Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо всё-таки сдерживать себя», – подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

– Отлично-с, – поспокойнее заговорил он, – дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

– Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

– Чьи интересы, позвольте осведомиться?

– Известно чьи. Трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

– Почему вы – труженик?

– Да уж известно – не нэпман.

– Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего трудового интереса?

– Известно что: прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанным в Москве? Это – раз. А самое главное – учётная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же – союз, биржа…

– Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти? Или по своему паспорту? Ведь нужно всё-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы… э… гм… вы ведь,

так сказать, неожиданно явившееся существо, лабораторное! – Филипп Филиппович говорил всё менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

– Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить всё по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии!

– Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш!

– Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстух и ответил:

– Полиграф Полиграфович.

– Не валяйте дурака, – хмуро отозвался Филипп Филиппович, – я с вами серьёзно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

– Что-то не пойму я, – заговорил он весело и осмысленно, – мне по матушке нельзя. Плевать – нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Ещё немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках уже не могу держать себя».

Он преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твёрдостью произнёс:

– Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали такое?

– Домком посоветовал. По календарю искали – какое тебе, говорят? Я и выбрал.

– Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

– Довольно удивительно, – человек усмехнулся, – когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, откинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

– Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарём, Филипп Филиппович спросил:

– Где?

– 4-го марта празднуется.

– Покажите… Гм!.. чёрт. В печку его, Зина, сейчас же!

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарём, а человек покачал укоризненно головою.

– Фамилию позвольте узнать?

– Фамилию я согласен наследственную принять.

– Как-с? Наследственную? Именно?

– Шариков.

* * *

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича.

– Как же писать? – нетерпеливо спросил он.

– Что же, – заговорил Швондер, – дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, гм… зародившийся в вашей, мол, квартире…

Борменталь недоумённо шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом.

– Гм… вот чёрт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто… ну, одним словом…

– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством молвил Швондер, – зародился или нет… В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне.

– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор! Вы напрасно говорите «и очень просто» – это очень непросто.

– Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал.

– Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да!», покраснел и закричал:

– Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело? – И хлёстко всадил трубку в рога.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

– Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздражённо прочитал вслух:

– «Сим удостоверяю…» Чёрт знает что такое… Гм…

«Предъявитель сего – человек, полученный при лабораторном опыте путём операции на головном мозгу, нуждается в документах»… Чёрт! Да я вообще против получения этих идиотских документов! Подпись – «профессор Преображенский».

– Довольно странно, профессор, – обиделся Швондер, – как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

– Я воевать не пойду никуда, – вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

– Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.

– На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно, и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли-с, мораль?» Борменталь многозначительно кивнул головой.

– Я тяжко раненный при операции, – хмуро подвывал Шариков, – меня вишь как отделали, – и он указал на голову. Поперёк лба тянулся очень свежий операционный шрам.

– Вы – анархист-индивидуалист? – спросил Швондер, высоко поднимая брови.

– Мне белый билет полагается, – ответил Шариков на это.

– Ну-с, хорошо, не важно пока, – ответил удивлённый Швондер. – Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.

– Вот что, э… – внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, – нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен её купить.

Жёлтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

– Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», – подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем.

Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

– Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет! Ведь тип, я вам доложу…

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушённый женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

– Боже мой! Ещё что-то! – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

– Кот, – сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в неё, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

– Сколько раз я приказывал, котов чтобы не было! – в бешенстве закричал Филипп Филиппович. – Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приёмной!

– В ванной, в ванной проклятый чёрт сидит, – задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддалась.

– Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

– Убью на месте…

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налёг на дверь и стал её рвать. Распаренная Дарья Петровна с искажённым лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трёх ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на чёрную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтёрла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

– О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересёк кухню и спросил старуху грозно:

– Что вам надо?

– Говорящую собачку любопытно поглядеть, – ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович ещё более побледнел, к старухе подошёл вплотную и шепнул удушливо:

– Сию секунду из кухни вон.

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

– Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

– Вон, я говорю, – повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул чёрной дверью за старухой. – Дарья Петровна, я уже просил вас?!

– Филипп Филиппович, – в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнажённые руки в кулаки, – что ж я поделаю?.. Народ целые дни ломится, хоть всё бросай!

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошёл доктор Борменталь.

– Иван Арнольдович, убедительно прошу… гм… сколько там пациентов?

– Одиннадцать, – ответил Борменталь.

– Отпустите всех, сегодня принимать не буду!

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

– Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

– Гу-гу! – жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

– Какого чёрта!.. Не слышу! Закройте воду!

– Гау… угу…

– Да закройте воду! Что он сделал – не понимаю?! – приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппович ещё раз погрохотал кулаком в дверь.

– Вот он! – выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

– Вы с ума сошли? – спросил Филипп Филиппович, – почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

– Защёлкнулся я!

– Откройте замок! Что же вы, никогда замка не видели?

– Да не открывается, окаянный, – испуганно ответил Полиграф.

– Батюшки! Он предохранитель защёлкнул! – вскричала Зина и всплеснула руками.

– Там пуговка есть такая, – выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, – нажмите её книзу… Вниз нажмите! Вниз!

Шариков пропал, через минуту вновь появился в окошке.

– Ни пса не видно, – в ужасе пролаял он в окно.

– Да лампу зажгите! Он взбесился!

– Котяра проклятый лампу раскокал, – ответил Шариков, – а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свёрнутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Фёдор с зажжённой венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

– Ду… га-гу! – что-то кричал Шариков сквозь рёв воды. Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла.

Послышался голос Фёдора:

– Филипп Филиппович, всё равно надо открывать, пусть разойдётся, отсосём из кухни!

– Открывайте! – сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нём она разделилась на три потока: прямо – в противоположную уборную, направо – в кухню и налево – в переднюю. Шлёпая и прыгая, Зина захлопнула дверь в переднюю. По щиколотку в воде, вышел Фёдор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеёнке – весь мокрый.

– Еле заткнул, напор большой, – пояснил он.

– Где этот? – спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

– Боится выходить, – глупо усмехнувшись, объяснил Фёдор.

– Бить будете, папаша? – донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной.

– Болван! – коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и

отжимали их в грязные вёдра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролёт лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней, и вёл переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

– Не будет сегодня приёма, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула.

– А когда же приём? – добивался голос за дверью. – Мне бы только на минуту…

– Не могу, – Борменталь переступал с носков на каблуки, – профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

– Тряпки не берут!

– Сейчас кружками вычерпаем! – отзывался Фёдор, – сейчас!

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже всей подошвой стоял в воде.

– Когда же операция? – приставал голос и пытался просунуться в щель.

– Труба лопнула…

– Я бы в калошах прошёл…

Синеватые силуэты появились за дверью.

– Нельзя, прошу завтра.

– А я записан.

– Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Фёдор у ног доктора ёрзал в озере, скрёб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лёг животом в воду и погнал её из передней обратно к уборной.

– Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? – сердилась Дарья Петровна, – выливай в раковину!

– Да что в раковину! – ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, – она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

– Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

– Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки!

– В калоши станьте!

– Да ничего. Всё равно уж ноги мокрые…

– Ах, Боже мой! – расстраивался Филипп Филиппович.

– До чего вредное животное, – отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, и очки вспыхнули.

– Вы про кого говорите? – спросил он у Шарикова с высоты, – позвольте узнать.

– Про кота я говорю. Такая сволочь! – ответил Шариков, бегая глазами.

– Знаете, Шариков, – переведя дух, отозвался Филипп Филиппович, – я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

– Вы, – продолжал Филипп Филиппович, – просто нахал! Как вы смеете это говорить! Вы всё это учинили и ещё позволяете… Да нет! Это чёрт знает что такое!

– Шариков, скажите мне, пожалуйста, – заговорил Борменталь, – сколько времени вы ещё будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие!

– Дикарь!

– Какой я дикарь? – хмуро отозвался Шариков, – ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет, как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

– Вас бы самого поучить! – ответил Филипп Филиппович. – Вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

– Чуть глаза не лишил, – мрачно отозвался Шариков, трогая глаз чёрной мокрой рукой.

Когда чёрный от влаги паркет несколько подсох и все зеркала покрылись банным налётом и звонки прекратились, Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

– Вот вам, Фёдор…

– Покорнейше благодарим!

– Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

– Покорнейше благодарю, – Фёдор помялся, потом сказал: – Тут ещё, Филипп Филиппович… Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в седьмой квартире… Гражданин Шариков камнями швырял…

– В кота? – спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

– То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

– Чёрт!..

– Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал… Ну, повздорили…

– Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно?

– Полтора.

Филипп Филиппович извлёк три блестящих полтинника и вручил Фёдору.

– Ещё за такого мерзавца полтора целковых платить, – послышался в дверях глухой голос, – да он сам…

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

– Не сметь! – явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, уж это действительно! – многозначительно заметил Фёдор, – такого наглого я в жизнь свою не видел!

Борменталь как из-под земли вырос.

– Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь!

Энергичный эскулап отпер дверь в приёмную и оттуда донёсся его голос:

– Вы что? В кабаке, что ли?

– Это так! – добавил решительно Фёдор, – вот это так! Да по уху бы ещё!..

– Ну что вы, Фёдор, – печально буркнул Филипп Филиппович.

– Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович!

Вопросы и задания

▸**1.** Какие приметы «героя» эпохи помогают оценить это время?

2. Когда и почему так детально изображён процесс присвоения имени и фамилии бродячему псу?

3. Какую роль в главе VI играет обсуждение вопроса о документах для героя?

4. Почему даже бытовые записки, которые появляются в квартире Преображенского, можно оценить как «документы» эпохи?

▸▸▸**1.** Опишите процесс «очеловечивания» Шарикова на этом этапе (только по этой главе).

2. Было ли описание эксперимента важно для повести как научная гипотеза или это всего лишь сатирический приём изображения действительности?

В **главе VII** описано дальнейшее и, казалось бы, мирное течение жизни. Новоявленный Шариков демонстрирует качества, которые всё больше напоминают профессору о том, чей мозг был использован при экспериментальной операции. У профессора

возникает всё больше сомнений в результатах своего научного поиска. Безобразная расхлябанность Полиграфа Полиграфовича и его непреодолимое хамство приобретают в этой главе и «теоретическую» базу. Эти качества связываются с именами Энгельса и Каутского. Книгу с перепиской этих людей Швондер дал Шарикову для его «марксистского» воспитания.

Профессора мучает неудача собственного эксперимента. Вместо возможности омолодить организм человека его операция возродила к жизни мозг погибшего уголовника, который определял поведение Шарикова.

Глава VIII продолжает описание процесса внедрения Шарикова в квартиру своего благодетеля. Можно было бы назвать этот процесс бесцеремонным присвоением собственности. Он нагл, агрессивен, злобен и лишён способности даже нейтрального, а не только доброжелательного общения с окружающими. И профессор, и его ассистент измучены созданным ими существом и уже готовы к тому, чтобы вернуть подопытное животное в прежнее состояние.

Однако в **главе IX** им не сразу удаётся осуществить этот разумный план. Полиграф Полиграфович проспался после пьянки и исчез из дома, заняв денег и украв кое-что по мелочам. Через два дня он вернулся и при этом выяснилось, что он уже «на должность поступил» и даже располагает документом, точно воспроизводящим обстоятельства: «Представитель сего товарищ Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе МКХ».

Итак, Полиграф Полиграфович вполне освоился в роли человека своей эпохи. Он «давил» котов, привёл в квартиру машинистку из своей конторы Васнецову, собираясь на ней жениться, написал донос на своих благодетелей и чувствовал себя хозяином положения. Перед читателем предстаёт типичный герой в типичных обстоятельствах.

Только жанр фантастического рассказа помог автору спасти профессора и его ассистента от гибели.

Конечно, герои рассказа были способны бороться за своё спасение. Но для этого им пришлось прибегнуть к крайним мерам, о которых читатель может только догадываться, поскольку именно тут, не вдаваясь в подробности, автор написал: **Конец повести**.

Однако далее он всё же добавил Эпилог, из которого мы узнаём, что профессору удалось завершить свой опыт и Шариков благополучно начал обратное превращение в собаку Шарика. Угроза преследования для экспериментаторов миновала: было

очевидно, что Полиграф Полиграфович вот-вот обретёт свой прежний облик и у Швондера с его приспешниками нет оснований для каких бы то ни было обвинений в адрес профессора Преображенского.

Эпилог

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок.

– Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалась масса народа. Двое в милицейской форме, один в чёрном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Фёдор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстуха.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

– Не стесняйтесь, профессор, – очень смущённо отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. – Очень неприятно… У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и… – человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил: – и арест, в зависимости от результатов.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

– А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щёку и стал вычитывать по бумажке из портфеля:

– По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

– Ничего не понимаю, – ответил Филипп Филиппович, королевски вздёргивая плечи, – какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса… которого я оперировал?

– Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело.

– То есть он говорил? – спросил Филипп Филиппович, – это ещё не значит быть человеком! Впрочем, это не важно. Шарик и

сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

– Профессор, – очень удивлённо заговорил чёрный человек и поднял брови, – тогда его придётся предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

– Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, – приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нём отрастала шерсть. Вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе. Кошмарного вида пёс, с багровым шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Человек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое:

– Как же, позвольте?.. Он служил в очистке…

– Я его туда не назначал, – ответил Филипп Филиппович, – ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

– Я ничего не понимаю, – растерянно сказал чёрный и обратился к первому милицейскому. – Это он?

– Он, – беззвучно ответил милицейский, – форменно он.

– Он самый, – послышался голос Фёдора, – только, сволочь, опять оброс.

– Он же говорил?.. кхе… кхе…

– И сейчас ещё говорит, но только всё меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

– Но почему же? – тихо осведомился чёрный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

– Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

– Неприличными словами не выражаться! – вдруг гаркнул пёс с кресла и встал.

Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор сзади. Произошла суматоха и в ней отчётливей всего были слышны три фразы:

Филипп Филипповича: – Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталя: – Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире профессора Преображенского!

И Швондера: – Прошу занести эти слова в протокол!

* * *

Серые гармонии труб играли. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с её одинокою звездою. Высшее существо, важный пёсий благотворитель сидел в кресле, а пёс Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пёс по утрам страдал головными болями, которые мучали его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и тёплые.

«Так свезло мне, так свезло, – думал он, задрёмывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, Царство ей Небесное, старушке. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживёт до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

– «К берегам священным Нила…»

Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво всё чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

– «К берегам священным Нила…»

Итоговые вопросы и задания

▶**1.** Какую роль в повести играет сюжет? Как сюжет помогает воссоздать панораму эпохи?

2. Какие события доносят до нас характерные приметы времени?

▶▶**1.** Какую роль играют значащие имена в рассказе? Дайте свой комментарий к этим именам.

2. Какие приметы времени изображены подчёркнуто сатирически?

3. Какую роль играют в повести часто всплывающие строки из оперы «Аида»?

4. Когда и почему в рассказе вдруг зазвучала балалайка?

▶▶▶**1.** Определите жанр этого произведения и мотивируйте

своё решение.

2. Создайте план сочинения на тему «Москва 20–30-х годов XX века (по материалам повести „Собачье сердце“)».

3. Подготовьте рассказ «Полиграф Полиграфович Шариков как воплощение обывателя 20-х годов XX века».

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984)

Станица Вёшенская – старейшая на Дону. Веками донская земля была пристанищем самых вольнолюбивых людей. «Гуляй-полем» называли донские земли. С первых дней жизни привольные степи, традиции казачьей общины, воинское героическое прошлое формировали характер, взгляд на мир Михаила Шолохова. «С самого рождения маленький Миша дышал чудесным степным воздухом над бескрайним степным простором», – напишет потом А. С. Серафимович, первый, кто заметил яркий талант писателя.

«Восхождение Шолохова – всегда загадка. В двадцать два года „Тихий Дон“… Народные характеры, каких не знала ещё литература» – так писал Фёдор Абрамов, писатель, который долгие годы занимался изучением творчества Шолохова.

Творческая юность Шолохова – это «Донские рассказы». В предисловии к этому сборнику писатель Серафимович написал: «Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество… Герои этих рассказов не знают противоречий…»

Пройдёт совсем немного времени, и молодой Шолохов создаст одну из лучших книг XX века – роман-эпопею «Тихий Дон». Это произведение переведено на 80 языков и получило всеобщее признание. Прямолинейности и «простоты» «Донских рассказов» в нём нет. Есть попытка понять своего современника и показать трудный путь человека в аду Гражданской войны.

Герои «Донских рассказов» проходят через степи с «аргументом насилия» в руках. Герои «Тихого Дона» испытываются на человечность. Читая этот роман, нельзя не заметить той неразрывной связи человека и природы, которая постоянна и неизменна для Шолохова.

31 декабря 1956 года и 1 января 1957 года в газете «Правда» был опубликован рассказ «Судьба человека». Как рассказывает один из журналистов, задуман он был давно: «А знает ли читатель о том, как Шолохов повстречался с героем рассказа „Судьба человека“ Андреем Соколовым именно на охоте. В первый послевоенный год поехал он поохотиться… Присев на

плетень отдохнуть у разлившейся степной речушки Еланки, он заметил мужчину, который вёл за руку мальчика по направлению к речной переправе. Усталые путники подошли к нему и, приняв его за шофёра, запросто сели отдохнуть. Тогда-то на этом плетне и поведал Андрей Соколов „своему брату-шофёру“ о своей судьбе. Путник собирался было уже уходить, но в это время подъехала к писателю его жена и выдала его, что называется, с головой. Путник ахнул от такой неожиданности, но уже было поздно – всё успел рассказать о себе – и быстро распрощался. А писатель жалел, что не успел узнать его фамилию». Однако до создания рассказа было далеко: только через 10 лет, читая о тех, кто пришёл с войны, Шолохов решил показать способность человека к преодолению своих бед и за семь дней создал этот рассказ.

Судьба человека. *В сокращении*

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули тёплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лёд, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое – всего лишь около шестидесяти километров, – но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. <…>

Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку. <…>

Неподалёку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлёк из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы. <…>

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл за руку маленького мальчика, судя по

росту – лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым баском:

– Здорово, браток!

– Здравствуй. – Я пожал протянутую мне большую, чёрствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

– Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил:

– Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивлённо приподнял белёсые бровки.

– Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные – снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

– Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнёшь – он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, – я три раза шагаю, так и идём с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по лужине бредёт или леденику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да ещё походным порядком. <…>

– Ты что же, всю войну за баранкой?

– Почти всю.

– На фронте?

– Да.

– Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе… Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. <…>

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

– Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В Гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни – хоть шаром покати, – нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, весёлая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть – не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней её, не было на свете и не будет! <…>

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года ещё две девочки… Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулём показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое – вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса…

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы

иначе…

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий – пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери – Настенька и Олюшка. <…> Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой… Андрюша… не увидимся… мы с тобой… больше… на этом… свете…»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к тёще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял её, вижу, что она не в себе…

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы…

– Не надо, друг, не вспоминай! – тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

– До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда её оттолкнул!.. <…>

Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы как лёд. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне – мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой она и в памяти – мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз… По большей части такой я её и во сне всегда вижу… Зачем

я её тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне «ЗИС-5». На нём и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, всё в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберёмся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что ещё можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. <…>

Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба раза по лёгкости: один раз – в мякоть руки, другой – в ногу; первый раз – пулей с самолёта, другой – осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки… Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идёт, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! – отвечаю ему. – Я должен проскочить, и баста!» – «Ну, – говорит, – дуй! Жми на всю железку!» <…>

Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на просёлок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного тяжёлый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда – не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета – не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дёргается, всего трясёт, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всём теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, – сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колёсами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идёт… Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал, как срезанный, потому что понял, что я – уже в окружении, а скорее сказать – в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает… <…>

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал… Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно…

Думал, все прошли. Приподнял голову, а их шесть автоматчиков – вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, – думаю, – и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лёжа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дёрнул, автомат снял. <…>

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», – соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат – я ему прямо в глаза гляжу, молчу, – а другой, ефрейтор что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» – и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын! <…>

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад в плен!.. А ходок тогда из меня был некудышный. В час по километру, не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошёл немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был.

Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шёл, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкою автомата по голове. Упади я, – и он пришил бы меня к земле очередью, но наши

подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошёл.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули ещё человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле чёрт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожжённое село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу – ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастёрках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастёрок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И ещё артиллерийская прислуга была без гимнастёрок. Как работали возле орудий растелешённые, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. <…> Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я – военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твёрдо так говорит: «Сымай гимнастёрку и нижнюю рубашку». Я снял всё это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он всё щупает и злобно так отвечает: «Твоё дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас ещё больнее будет». Да с тем как дёрнет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты её так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я её на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошёл в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потёмках своё великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. <…>

Утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырёх и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трёх русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» – и всё.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. <…>

Видишь, какое дело, браток, ещё с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашёлся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мёрло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошёл за куст… А потом – бегом, держу прямо на восход солнца…

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, – сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвёртые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трёх километров, я и залёг в овсе на днёвку. Намял в ладонях зёрен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит… Оборвалось у меня сердце, потому что собаки всё ближе голоса подают. Лёг я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня всё моё рваньё. Остался в чём мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели. И под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока ещё не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и

привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но всё-таки живой… живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, – сердце уже не в груди, а в глотке бьётся, и трудно становится дышать…

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголёк откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и чёрт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадётся, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты – русский, за то, что на белый свет ещё смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнёшь, не так повернёшься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток – где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору. <… >

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шёл, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться – то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже ещё хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашёлся же из своих какой-то подлец, донёс коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белёсые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да ещё на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком – барак они так называли, – идёт перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлёте. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идёт и бьёт каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матершинничает почём зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, – уж он по-русски не ругался бы, а только на своём языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, – говорит, – я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошёл. Иду по лагерному двору, на звёзды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному – номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться всё-таки трудно…

В комендантской – цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом – всё лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, мочёные яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и – не поверишь – так меня замутило, что за

малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнёт, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щёлкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки – это много?» – «Так точно, – говорю, – герр комендант, много». – «А одного тебе на могилу хватит?» – «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и распишешься». – «Воля ваша», – говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и всё это подаёт мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнём обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один чёрт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить на нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», – говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему своё: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щёки. Фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на

меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьёзный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты – настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я – тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», – и подаёт мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от неё потянуло…

Вышел я из комендантской на твёрдых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши ещё в потёмках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» – спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», – говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учёт, ну, а сала, сам понимаешь, – только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом – в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвёртого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофёром, – шаг вперёд». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили

работать в «Тодте» – была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нём, я так определил, не менее трёх пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет – только держись! Целый день, бывало, жуёт да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе, – и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое.

Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролёт думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? <…>

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его ещё раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идёт.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы

они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошёл на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулемётов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырёх местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую её, и дышать мне нечем…

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я ещё в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чёртов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлёп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошёл из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника – командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошёл мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привёз от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь». <…>

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал всё коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить…

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силёнок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идёт, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову

лезут… На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что ещё в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжёлая бомба попала прямо в мою хатёнку. Ирина и дочери как раз были дома… Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатёнки – глубокая яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилёг я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбёжки был в городе. Вечером вернулся в посёлок, посмотрел на яму и в ночь опять ушёл в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и всё.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, ещё тогда подсказывало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я её тогда оттолкнул… Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, и всё рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я – крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе… Значит, я два года с мёртвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

– Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит. <…>

Молчать было тяжело, и я спросил:

– Что же дальше?

– Дальше-то? – нехотя отозвался рассказчик. – Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс… Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошёл на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашёлся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на фронт и вот уже

пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. <…>

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись… Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер… <…>

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далёкий путь, и будто что-то во мне оборвалось… Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, демобилизованный ещё зимою по ранению, – он когда-то приглашал меня к себе, – вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофёром в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернёшься в город – понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует… И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день – опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико всё в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечёсаный, а глазёнки – как звёздочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, – кто что даст.

На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину,

прокачу на элеватор, а оттуда вернёмся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазёнки широко раскрыл, ждёт, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и всё знаю.

Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». – «А мама?» – «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». – «А откуда вы ехали?» – «Не знаю, не помню…» – «И никого у тебя тут родных нету?» – «Никого». – «Где же ты ночуешь?» – «А где придётся».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я – твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся… Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет всё же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошёл, – побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмётся ко мне изо всех силёнок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внёс. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошёл я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашёл я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чём дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол.

Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дёргает её за подол и говорит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». <…>

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним – дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждёт. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слёзы точил, вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать ещё засветло, днём наморился я очень, и он – то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чём думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда своё кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», – говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошёл и проехал, а ты в Урюпинске оказался». – «А Урюпинск – это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, всё это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит всё и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним ещё с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил её с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шофёрскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, – он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофёром, – и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком. <…>

– Тяжело ему идти, – сказал я.

– Так он вовсе мало на своих ногах идёт, всё больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, – слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козлёнок. Всё это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня́ надо менять… Иной раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут ещё одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И всё больше так, что я – за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону… Разговариваю обо всём и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, – они уходят от меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днём я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слёз…

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твёрдую, как дерево, руку:

– Прощай, браток, счастливо тебе!

– И тебе счастливо добраться до Кашар.

– Благодарствую. Эй, сынок, пойдём к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина.

С тяжёлой грустью смотрел я им вслед… Может быть, всё и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное – уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное – не ранить сердце ребёнка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…

Вопросы и задания

- Как вы понимаете название рассказа «Судьба человека»?

Почему не «Судьба Соколова»? Попробуйте доказать, что название, данное автором, самое удачное.

⏩**1.** Как вы понимаете слово «судьба»? Приходилось ли вам задумываться о судьбе какого-то человека, о судьбе целого народа, о собственной судьбе?

2. В кратком словаре синонимов русского языка слову «судьба» даны такие синонимы: «доля», «удел», «жребий», «участь», «предопределение», «рок», «фатум». Смогли бы вы объяснить разницу между этими словами?

3. Объясните, чем вызвано активное включение в рассказ разговорной речи.

⏩⏩**1.** Составьте план рассказа и выделите в нём тот пункт, который указывает на кульминацию.

2. Подготовьте рассказ о судьбе Андрея Соколова.

Александр Трифонович Твардовский (1910–1971)

Есть старинная поговорка: «Когда говорят пушки, музы молчат». Однако Великая Отечественная война опровергла её. С самых первых дней войны стали рождаться прекрасные стихи, песни, романы, драмы, яркая публицистика. Одним из самых популярных произведений на фронте и в тылу стала поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» («Книга про бойца»). Высоко оценил её И. А. Бунин: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».

Александр Твардовский родился, провёл своё детство и юные годы в крестьянской семье на Смоленщине. Великим тружеником был его отец, глава большой семьи, Трифон Гордеевич Твардовский, деревенский кузнец. «Семья еле сводила концы с концами, – вспоминает младший брат писателя Иван Твардовский, – изнурительный труд на пашне в мелких болотцах, замшелых березнячках, кочковатых полянках не вознаграждался желанным урожаем. На отвоёванных у кустарников нивах озимые подопревали, и их нередко приходилось пересеивать яровыми. Но пороха у отца всегда хватало, и он, не щадя сил, упорно продолжал работать, облагораживая своё „имение“».

Семья Твардовских очень интересно проводила зимние вечера. Трифон Гордеевич был страстным любителем чтения, хотя и окончил всего три класса церковно-приходской школы. Он знал наизусть много стихотворений, семейное чтение стало традицией

в его доме. С этих читок начиналось приобщение к литературе будущего поэта. В доме, в красном углу, под образами, на полочке стояли тома сочинений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Данилевского, Кольцова, Никитина, Тютчева, Помяловского, Аксакова, Жюля Верна. В селе с удивлением смотрели на семью Твардовских и часто объясняли их материальные трудности увлечением грамотой.

В поэме «За далью – даль» Александр Твардовский так отозвался об отцовской кузнице:

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И Академией наук.

Будущий поэт испытывал большую тягу к знаниям и творчеству. Он постепенно отходил от хуторского хозяйства, уезжал на учёбу, а в 1928 году и вовсе покинул хутор.

Начал Твардовский свой творческий путь сельским корреспондентом. Известность пришла к нему с поэмой «Страна Муравия», напечатанной сначала в 1936 году в Смоленске.

В конце 30-х годов Твардовский обратился к военной теме. Поэта волнует жизнь народа в годы сложных поворотов истории.

В сентябре 1939-го Твардовский участвует в походе в Западную Белоруссию, а затем – в войне с Финляндией. Эти события нашли отражение в стихах о героических подвигах танкистов, лётчиков, шофёра Володи Артюха и многих других солдат, прорывавших «линию Маннергейма».

Перед самой войной 11–21 июня 1941 года он написал стихи, которые можно воспринимать как наброски к поэме о Тёркине:

Там, в боях полубезвестных,
В сосняке болот глухих
Смертью храбрых, смертью честных
Пали многие из них.

Там, за той рекой Сестрою,
На войне, в снегах по грудь,
Золотой Звездой героя
Многих был отмечен путь.

Стоил он, тот путь, не мало,
Прегражден лютой зимой,
Тьмой лесной, огнём, металлом,

Надолб каменным оскалом,
Льдом, водой, землёй самой.

В 1942 году Твардовский продолжает работу над образом Тёркина, но уже как бойца новой большой войны. Тёркин – весёлый, неунывающий, умеющий поддержать в себе и людях оптимистичное настроение. Однако поэма создавалась длительное время, и в характере Тёркина произошли определённые изменения, он как бы дан автором в развитии. Герой меняется вместе с теми событиями, участником которых он является. По мере приближения победы герой всё больше погружается в себя, в его образе просвечивается всё больше индивидуального, частного.

Василий Тёркин. ***Книга про бойца. В сокращении***

Два солдата

В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гудит война.
На печи в избе старуха,
Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит – Тёркин дома,
Тёркин снова на войне.

А старик как будто ухом
По привычке не ведёт.
– Перелёт! Лежи, старуха. —
Или скажет:
– Недолёт…

На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика,

С кем жила – не уважала,
С кем бранилась на печи,

От кого вдали держала
По хозяйству все ключи.

А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.

– Вот не режет, точишь, точишь,
Не берёт, ну что ты хочешь!.. —
Тёркин встал:
– А может, дед,
У неё развода нет?

Сам пилу берёт:
– А ну-ка… —
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.
Тёркин щурится:
– Ну вот.
Поищи-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.

Посмотреть – и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.

Обернулась – и готово.
– На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инструмент не кори.

И хозяин виновато
У бойца берёт пилу.
– Вот что значит мы, солдаты, —
Ставит бережно в углу.

А старуха:
– Слаб глазами,
Стар годами мой солдат.

Поглядел бы, что с часами,
С той войны ещё стоят…

Снял часы, глядит: машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально, —
Всё ж часы, а не пила, —
Мастер тихо и печально
Посвистел:
– Плохи дела…

Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
Что ты думаешь, – пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый,
Час – другой, вперёд – назад.
– Вот что значит мы, солдаты, —
Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
– Идут!
Ну и парень, ну и шут…

Удивляется. А парень
Услужить ещё не прочь.
– Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:
– Сало, сало! Где там сало…

Тёркин:

– Бабка, сало здесь.
Не был немец – значит, есть!

И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
– Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
– Бог с тобою, разве можно…
Помолчи уж, помолчи.

А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
– Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.

– Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.
Отвинтил у фляги крышку:
– Пей, отец, не будет лишку.
Поперхнулся дед-солдат,
Подтянулся:
– Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.
Пожевал – и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
– Рассуждая так ли, сяк ли,

Всё равно такою каплей
Не согреть бойца в бою,
Будьте живы!
– Пейте.
– Пью…

И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:
– Позволь, товарищ,
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хорошо? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне – тогда я бог!

Снова где-то на задворках
Мёрзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чём – Василий Тёркин,
Как ни в чём – старик солдат.

– Эти штуки в жизни нашей, —
Дед расхвастался, – пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадёт, откинешь ложкой,
А в тебя – так и мертвец.

– Но не знали вы бомбёжки,
Я скажу тебе, отец.

– Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрёшь.
А скажи, простая штука
Есть у вас?
– Какая?
– Вошь.

И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Тёркин
И сказал:
– Частично есть…

– Значит, есть? Тогда ты воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты – солдат, хотя и млад,
А солдат солдату – брат.

И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьёз.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьём мы немца
Или, может, не побьём?

– Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь – захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднёс.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе
И солдату самому.

Молча в путь запоясался,
Осмотрелся – всё ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!
Всё припомнил, всё проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:
– Побьём, отец…

В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гремит война.
На печи в избе – старуха.
Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперёд,
По снегам идёт Василий
Тёркин. Немца бить идёт.

О себе

Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога вдаль.
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берёг.

Да и не было помехи
Взять и вспомнить наугад.
Старый лес, куда в орехи
Я ходил с толпой ребят.

Лес – ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку как-нибудь;
Не корчёванный фугасом,
Не поваленный огнём,
Хламом гильз, жестянок, касок
Не заваленный кругом;
Блиндажами не изрытый,
Не обкуренный зимой,
Ни своими не обжитый,
Ни чужими под землёй.

Милый лес, где я мальчонкой

Плёл из веток шалаши,
Где однажды я телёнка,
Сбившись с ног, искал в глуши…

Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.

Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом
Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождём.

И в глуши родной ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.

И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.

И в истоме птицы смолкли…
Светлой каплею смола
По коре нагретой елки,
Как слеза во сне, текла…

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет?

Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко всё это было
Взять и вспомнить год назад.

Вспомнить разом что придётся —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стёжку до колодца,
Где песочек золотой;
Книгу, читанную в поле,

Кнут, свивающий с плеча,
Лёд на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича…

Да и не было запрета,
Проездной купив билет,
Вдруг туда приехать летом,
Где ты не был десять лет…

Чтобы с лаской, хоть не детской,
Вновь обнять старуху мать,
Не под проволокой немецкой
Нужно было проползать.

Чтоб со взрослой грустью сладкой
Праздник встречи пережить —
Не украдкой, не с оглядкой
По родным лесам кружить.

Чтоб сердечным разговором
С земляками встретить день —
Не нужда была, как вору,
Под стеною прятать тень…

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду – лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну.

Не звериным робким следом
Я приду, твой кровный сын, —
Вместе с нашею победой
Я иду, а не один.

Этот час не за горою
Для меня и для тебя…
А читатель той порою
Скажет:
– Где же про героя?
Это больше про себя.

Про себя? Упрёк уместный,
Может быть, меня пресёк.

Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?

Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чём другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сёстры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.
То, что я всем сердцем славил
И любил, – за той чертой.
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил, – за той, за той —
За неписаной границей,
Поперёк страны самой,
Что горит, горит в зарницах
Вспышек – летом и зимой…

И скажу тебе, не скрою, —
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за всё кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Тёркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Он земляк мой, и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Всё же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну – нет.

Тёркин – дальше. Автор – вслед.

Дед и баба

Третье лето. Третья осень.
Третья озимь ждёт весны.
О своих нет-нет и спросим
Или вспомним средь войны.
Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.

Вспомним вьюгу-завируху
Прифронтовой полосы,
Хату с дедом и старухой,
Где наш друг чинил часы.

Им бы не было износу
Впредь до будущей войны,
Но, как водится, без спросу
Снял их немец со стены:

То ли вещью драгоценной
Те куранты посчитал,
То ль решил с нужды военной, —
Как-никак цветной металл.

Шла зима, весна и лето,
Немец жить велел живым.
Шла война далёко где-то
Чередом глухим своим.

И в твоей родимой речке
Мылся немец тыловой,
На твоём сидел крылечке
С непокрытой головой.

И кругом его порядки,
И немецкий, привозной
На смоленской узкой грядке
Зеленел салат весной.

И ходил сторонкой, боком
Ты по улочке своей, —

Уберёгся ненароком,
Жить живи, дышать не смей.

Так и жили дед да баба
Без часов своих давно,
И уже светилось слабо
На пустой стене пятно…

Но со страстью неизменной
Дед судил, рядил, гадал
О кампании военной,
Как в отставке генерал.

На дорожке возле хаты
Костылем старик чертил
Окруженья и охваты,
Фланги, клинья, рейды в тыл…

– Что ж, за чем же остановка? —
Спросят люди. – Срок не мал… —
Дед-солдат моргал неловко,
Кашлял:
– Перегруппировка… —
И таинственно вздыхал.

У людей уже украдкой
Наготове был упрёк,
Словно добрую догадку
Дед по скупости берёг.

Словно думал подороже
Запросить с души живой.
– Дед, когда же?
– Дед, ну что же?
– Где ж он, дед, Будённый твой?

И едва войны погудки
Заводил вдали восток,
Дед, не медля ни минутки,
Объявил, что грянул срок.

Отличал тотчас по слуху
Грохот наших батарей.
Бегал, топал:

– Дай им духу!
Дай ещё! Добавь! Погрей!

Но стихала канонада.
Потухал зарниц пожар.
– Дед, ну что же?
– Думать надо,
Здесь не главный был удар.

И уже казалось деду, —
Сам хотел того иль нет, —
Перед всеми за победу
Лично он держал ответ.

И, тая свою кручину,
Для всего на свете он
И угадывал причину,
И придумывал резон.

Но когда пора настала,
Долгожданный вышел срок,
То впервые воин старый
Ничего сказать не мог…

Все тревоги, все заботы
У людей слились в одну:
Чтоб за час до той свободы
Не постигла смерть в плену.

* * *

В ночь, как все, старик с женой
Поселились в яме.
А война – не стороной,
Нет, над головами.

Довелось под старость лет:
Ни в пути, ни дома,
А у входа на тот свет
Ждать часы приёма.

Под накатом из жердей,

На мешке картошки,
С узелком, с горшком углей,
С курицей в лукошке…

Две войны прошёл солдат
Целый, невредимый.
Пощади его, снаряд,
В конопле родимой!

Просвисти над головой,
Но вблизи не падай,
Даже если ты и свой, —
Всё равно не надо!

Мелко крестится жена,
Сам не скроешь дрожи:
Ведь живая смерть страшна
И солдату тоже.

Стихнул грохот огневой
С полночи впервые.
Вдруг – шаги за коноплёй.
– Ну, идут… немые…

По картофельным рядам
К погребушке прямо.
– Ну, старик, не выйти нам
Из готовой ямы.

Но старик встаёт, плюёт
По-мужицки в руку.
За топор – и наперёд:
Заслонил старуху.

Гибель верную свою,
Как тот миг ни горек,
Порешил встречать в бою,
Держит свой топорик.

Вот шаги у края – стоп!
И на шубу глухо
Осыпается окоп.
Обмерла старуха.

Всё же вроде как жива:
– Наше место свято!
Слышит русские слова:
– Жители, ребята?..

– Детки! Родненькие… Детки!.. —
Уронил топорик дед.
– Мы, отец, ещё в разведке,
Тех встречай, что будут вслед.

На подбор орлы-ребята,
Молодец до молодца.
И старшой у аппарата, —
Хоть ты что, знаком с лица.

– Закурить? Верти, папаша. —
Дед садится, вытер лоб.
– Ну, ребята, счастье ваше —
Голос подали. А то б…

И старшой ему кивает:
– Ничего. На том стоим.
На войне, отец, бывает —
Попадает по своим.

– Точно так. – И тут бы деду
В самый раз что покурить,
В самый раз продлить беседу:
Столько ждал! – Поговорить.

Но они спешат не в шутку.
И ещё не снялся дым…
– Погоди, отец, минутку,
Дай сперва освободим…

Молодец ему при этом
Подмигнул для красоты,
И его по всем приметам
Дед узнал:
– Так это ж ты!

Друг-знакомец, мастер-ухарь,
С кем сидели у стола.
– Погляди скорей, старуха!

Узнаёшь его, орла?

Та как глянула:
– Сыночек!
Голубочек. Вот уж гость.
Может, сала съешь кусочек,
Воевал, устал небось?

Смотрит он, шутник тот самый:
– Закусить бы счёл за честь,
Но ведь нету, бабка, сала?
– Да и нет, а всё же есть…

– Значит, цел, орёл, покуда.
– Ну, отец, не только цел:
Отступал солдат отсюда,
А теперь, гляди, кто буду, —
Вроде даже офицер.

– Офицер? Так-так. Понятно, —
Дед кивает головой. —
Ну, а если… на попятный,
То опять как рядовой?..

– Нет, отец, забудь. Отныне
Нерушим простой завет:
Ни в большом, ни в малом чине
На попятный ходу нет.

Откажи мне в чёрствой корке,
Прогони тогда за дверь.
Это я, Василий Тёркин,
Говорю. И ты уж верь.

– Да уж верю! Как получше,
На какой теперь манер:
Господин, сказать, поручик
Иль товарищ офицер?

– Стар годами, слаб глазами,
И, однако, ты, старик,
За два года с господами
К обращению привык…

Дед – плеваться, а старуха,
Подпершись одной рукой,
Чуть склонясь и эту руку
Взявши под локоть другой,
Всё смотрела, как на сына
Смотрит мать из уголка.

– Закуси ещё, – просила, —
Закуси, поёшь пока…

И спешил, а всё ж отведал,
Угостился, как родной.
Табаку отсыпал деду
И простился.

– Связь, за мной! —
И уже пройдя немного, —
Мастер памятлив и тут, —
Тёркин будто бы с порога
Про часы спросил:
– Идут?

– Как не так! – и вновь причина
Бабе кинуться в слезу.

– Будет, бабка! Из Берлина
Двое новых привезу.

Вопросы и задания

1. Как изображён Тёркин в главе «Два солдата»? Почему она так названа?

2. Можно ли считать, как утверждает автор, Тёркина и старика солдатами-братьями?

3. Какое отношение проявляют друг к другу старик и Тёркин? Как это выражено в их словах, поступках, жестах, манере обращения?

4. Какую, по-вашему, роль выполняет в поэме о бойце Тёркине глава «О себе»?

1. Какие сказочные, обрядовые и народно-песенные традиции вы находите в этой главе? В чём они выражены?

2. Какие изменения в поведении и речи Тёркина

обнаруживаются в главе «Дед и баба»? Что, по-вашему, приобретено и что утрачено солдатом?

1. Сопоставьте сцены прощания в главах «Два солдата» и «Дед и баба». Что общего в них и что различного? О чём говорит воспоминание Тёркина о починенных часах?

2. Какие изменения происходят в облике старика и старухи, в их поведении за прошедшие годы? Чем они обусловлены?

3. Каково отношение поэта к Родине, родному краю? Как оно передано в главе?

4. Каковы размышления автора о своих связях с героем? В чём смысл этих рассуждений? Можно ли сказать, что в этой главе достигается единство лирического и эпического начал в поэме, трагическая гармония?

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008)

Судьба Александра Исаевича Солженицына как писателя и человека оказалась очень сложной и необычной. Будучи бескомпромиссным и несгибаемым борцом против социальной несправедливости, тоталитаризма, любых форм нарушения прав человека, он большую часть жизни находился в противостоянии власти и подвергался всевозможным гонениям.

Родился Александр Исаевич 11 декабря 1918 года в Кисловодске, детство и юность его прошли в Ростове-на-Дону, где он и окончил среднюю школу в 1936 году. В 1941 году закончил математический факультет Ростовского университета. Одновременно он учился на заочном отделении Московского института философии, литературы, истории (МИФЛИ).

Началась война. Благодаря знанию математики Александр Солженицын был направлен на учёбу в артиллерийское училище, окончив которое был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи… Был пройден большой боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Солженицын был удостоен ордена Отечественной войны второй степени и ордена Красной Звезды. В 1945 году капитан Солженицын был арестован за неодобрительный отзыв о Сталине в перехваченном цензурой личном письме к другу. В результате – восемь лет исправительно-трудовых лагерей, пять из них Солженицын провёл в Подмосковье и Москве, три – в Средней Азии. Как математик, часть своего срока он провёл в системе научно-исследовательских институтов МВД и МГБ, впечатление о которых он отразил в художественном романе «В круге первом». Находясь в Казахстане, в лагере города Экибастуза, работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком.

Впоследствии этот лагерь и его люди были воссозданы в «Одном дне Ивана Денисовича». Затем предстояла вечная ссылка на юг Казахстана, прерванная смертью Сталина.

В сталинских застенках Александр Исаевич нажил тяжёлую болезнь – рак. Но совершилось то, что Солженицын воспринял как чудо. Он излечился от тяжкого недуга в ташкентской клинике в течение 1954 года (по впечатлениям этого периода его жизни создан роман «Раковый корпус»).

В 1962 году Солженицыну при поддержке А. Т. Твардовского удаётся опубликовать в журнале «Новый мир» рассказ «Один день Ивана Денисовича», а в 1963 году в этом же журнале – «Матрёнин двор». Последнее произведение было подвергнуто резкой критике, писателя обвиняли в отступлении от законов социалистического реализма, искажении исторической правды, отсутствии оптимизма в изображении советского села. Так творчество Солженицына оказалось несовместимым с официальным пониманием правды и нравственности.

В 1964–1970 годы создана главная книга писателя – «Архипелаг ГУЛАГ», которая стала своеобразным памятником всем замученным и убитым в годы тоталитарного режима. «Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался». Книга по своему жанру названа писателем «опытом художественного исследования».

В 1970 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии.

Власти в СССР не могли простить непокорённому писателю его борьбу за открытие людям правды, его призывы «жить не по лжи». В 1974 году он был арестован по обвинению в измене Родине, однако широкая мировая известность нобелевского лауреата помешала предать писателя суду за столь «тяжкие преступления».

С 1975 года Александр Исаевич вместе со своей семьёй жил в США. В 1994 году Солженицын вернулся в Россию.

Как жаль

Оказался перерыв на обед в том учреждении, где Анне Модестовне надо было взять справку. Досадно, но был смысл подождать: оставалось минут пятнадцать, и она ещё успевала за свой перерыв.

Ждать на лестнице не хотелось, и Анна Модестовна спустилась на улицу.

День был в конце октября – сырой, но не холодный. В ночь и с утра сеялся дождик, сейчас перестал. По асфальту с жидкой

грязцой проносились легковые, кто поберегая прохожих, а чаще обдавая. По середине улицы нежно серел приподнятый бульвар, и Анна Модестовна перешла туда.

На бульваре никого почти не было, даже и вдали. Здесь, обходя лужицы, идти по зернистому песку было совсем не мокро. Палые намокшие листья лежали тёмным настилом под деревьями, и если идти близко к ним, то как будто вился от них лёгкий запах – остаток ли не отданного во время жизни или уже первое тление, а всё-таки отдыхала грудь меж двух дорог перегоревшего газа.

Ветра не было, и вся густая сеть коричневых и черноватых влажных… – Аня остановилась —…вся сеть ветвей, паветвей, ещё меньших веточек, и сучочков, и почечек будущего года, вся эта сеть была обнизана множеством водяных капель, серебристо-белых в пасмурном дне. Это была та влага, что после дождя осталась на гладкой кожице веток, и в безветрии ссочилась, собралась и свесилась уже каплями – круглыми с кончиков нижних сучков и овальными с нижних дуг веток.

Переложив сложенный зонтик в ту же руку, где была у неё сумочка, и стянув перчатку, Аня стала пальцы подводить под капельки и снимать их. Когда удавалось это осторожно, то капля целиком передавалась на палец и тут не растекалась, только слегка плющилась. Волнистый рисунок пальца виделся через каплю крупнее, чем рядом, капля увеличивала, как лупа.

Но, показывая сквозь себя, та же капля одновременно показывала и над собой: она была ещё и шаровым зеркальцем. На капле, на светлом поле от облачного неба, видны были – да! – тёмные плечи в пальто, и голова в вязаной шапочке, и даже переплетение ветвей над головой.

Так Аня забылась и стала охотиться за каплями покрупней, принимая и принимая их то на ноготь, то на мякоть пальца. Тут совсем рядом она услышала твёрдые шаги и сбросила руку, устыдясь, что ведёт себя, как пристало её младшему сыну, а не ей.

Однако проходивший не видел ни забавы Анны Модестовны, ни её самой – он был из тех, кто замечает на улице только свободное такси или табачный киоск. Это был с явною печатью образования молодой человек с ярко-жёлтым набитым портфелем, в мягкошерстном цветном пальто и ворсистой шапке, смятой в пирожок. Только в столице встречаются такие ранне-уверенные, победительные выражения. Анна Модестовна знала этот тип и боялась его.

Спугнутая, она пошла дальше и поравнялась с газетным щитом на голубых столбиках. Под стеклом висел «Труд» наружной и внутренней стороной. В одной половине стекло было

отколото с угла, газета замокла, и стекло изнутри обводнилось. Но именно в этой половине внизу Анна Модестовна прочла заголовок над двойным подвалом: «Новая жизнь долины реки Чу».

Эта река не была ей чужа: она там и родилась, в Семиречьи. Протерев перчаткой стекло, Анна Модестовна стала проглядывать статью.

Писал её корреспондент нескупого пера. Он начинал с московского аэродрома: как садился на самолёт и как, словно по контрасту с хмурой погодой, у всех было радостное настроение. Ещё он описывал своих спутников по самолету, кто зачем летел, и даже стюардессу мельком. Потом – фрунзенский аэродром и как, словно по созвучию с солнечной погодой, у всех было очень радостное настроение. Наконец, он переходил собственно к путешествию по долине реки Чу. Он с терминами описывал гидротехнические работы, сброс вод, гидростанции, оросительные каналы, восхищался видом орошённой и плодоносной теперь пустыни и удивлялся цифрам урожаев на колхозных полях.

А в конце писал:

«Но немногие знают, что это грандиозное и властное преобразование целого района природы замыслено было уже давно. Нашим инженерам не пришлось проводить заново доскональных обследований долины, её геологических слоёв и режима вод. Весь главный большой проект был закончен и обоснован трудоёмкими расчётами ещё сорок лет назад, в 1912 году, талантливым русским гидрографом и гидротехником Модестом Александровичем В*, тогда же начавшим первые работы на собственный страх и риск».

Анна Модестовна не вздрогнула, не обрадовалась – она задрожала внутренней и внешней дрожью, как перед болезнью. Она нагнулась, чтобы лучше видеть последние абзацы в самом уголке, и ещё пыталась протирать стекло и едва читала:

«Но при косном царском режиме, далёком от интересов народа, его проекты не могли найти осуществления. Они были погребены в департаменте земельных улучшений, а то, что он уже прокопал, – заброшено.

Как жаль! – (кончал восклицанием корреспондент) – как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих светлых идей! что он не может взглянуть на преображённую долину!»

Кипяточком болтнулся страх, потому что Аня уже знала, что сейчас сделает: сорвёт эту газету! Она воровато оглянулась вправо, влево – никого на бульваре не было, только далеко чья-то

спина. Очень это было неприлично, позорно, но…

Газета держалась на трёх верхних кнопках. Аня просунула руку в пробой стекла. Тут, где газета намокла, она сразу сгреблась уголком в сырой бумажный комок и отстала от кнопки. До средней кнопки, привстав на цыпочки, Аня всё же дотянулась, расшатала и вынула. А до третьей, дальней, дотянуться было нельзя – и Аня просто дёрнула. Газета сорвалась – и вся была у неё в руке.

Но сразу же за спиной раздался резкий дробный турчок милиционера.

Как опалённая (она сильно умела пугаться, а милицейский свисток её и всегда пугал), Аня выдернула пустую руку, обернулась…

Бежать было поздно и несолидно. Не вдоль бульвара, а через проём бульварной ограды, которого Аня не заметила раньше, к ней шёл рослый милиционер, особенно большой от намокшего на нём плаща с откинутым башлыком.

Он не заговорил издали. Он подошёл, не торопясь. Сверху вниз посмотрел на Анну Модестовну, потом на опавшую, изогнувшуюся за стеклом газету, опять на Анну Модестовну. Он строго над ней высился. По широкому румяному лицу его и рукам было видно, какой он здоровый – вполне ему вытаскивать людей с пожара или схватить кого без оружия.

Не давая силы голосу, милиционер спросил:

– Это что ж, гражданка? Будем двадцать пять рублей платить?..

(О, если только штраф! Она боялась – будет хуже истолковано!)

– …Или вы хотите, чтоб люди газет не читали?

(Вот, вот!)

– Ах, что вы! Ах, нет! Простите! – стала даже как-то изгибаться Анна Модестовна. – Я очень раскаиваюсь… Я сейчас повешу назад… если вы разрешите…

Нет уж, если б он и разрешил, эту газету с одним отхваченным и одним отмокшим концом трудновато было повесить.

Милиционер смотрел на неё сверху, не выражая решения.

Он уж давно дежурил, и дождь перенёс, и ему кстати было б сейчас отвести её в отделение вместе с газетой: пока протокол – посушиться маненько. Но он хотел понять. Прилично одетая дама, в хороших годах, не пьяная.

Она смотрела на него и ждала наказания.

– Чем вам газета не нравится?

– Тут о папе моём!.. – Вся извиняясь, она прижимала к груди

ручку зонтика, и сумочку, и снятую перчатку. Сама не видела, что окровянила палец о стекло.

Теперь постовой понял её, и пожалел за палец и кивнул:

– Ругают?.. Ну, и что одна газета поможет?..

– Нет! Нет-нет! Наоборот – хвалят!

(Да он совсем не злой!)

Тут она увидела кровь на пальце и стала его сосать. И всё смотрела на крупное простоватое лицо милиционера.

Его губы чуть развелись:

– Так что вы? В ларьке купить не можете?

– А посмотрите, какое число! – она живо отняла палец от губ и показала ему в другой половине витрины на несорванной газете. – Её три дня не снимали. Где ж теперь найдёшь?!

Милиционер посмотрел на число. Ещё раз на женщину. Ещё раз на опавшую газету. Вздохнул:

– Протокол нужно составлять. И штрафовать… Ладно уж, последний раз, берите скорей, пока никто не видел…

– О, спасибо! Спасибо! Какой вы благородный! Спасибо! – зачастила Анна Модестовна, всё так же немного изгибаясь или немного кланяясь, и раздумала доставать платок к пальцу, а проворно засунула всё ту же руку с розовым пальцем туда же, ухватила край газеты и потащила. – Спасибо!

Газета вытянулась. Аня, как могла при отмокшем крае и одной свободной рукой, сложила её. С ещё одним вежливым изгибом сказала:

– Благодарю вас! Вы не представляете, какая это радость для мамы и папы! Можно мне идти?

Стоя боком, он кивнул.

И она пошла быстро, совсем забыв, зачем приходила на эту улицу, прижимая косо сложенную газету и иногда на ходу посасывая палец.

Бегом к маме! Скорей прочесть вдвоём! Как только папе назначат точное жительство, мама поедет туда и повезёт сама газету.

Корреспондент не знал! Он не знал, иначе б ни за что не написал! И редакция не знала, иначе б не пропустила! Молодой энтузиаст – д о ж и л! До торжества своих светлых идей он дожил, потому что смертную казнь ему заменили, двадцать лет он отсидел в тюрьмах и лагерях. А сейчас, при этапе на вечную ссылку, он подавал заявление самому Берия, прося сослать его в долину реки Чу. Но его сунули не туда, и комендатура теперь никак не приткнёт этого бесполезного старичка: работы для него подходящей нет, а на пенсию он не выработал.

Вопросы и задания

▸**1.** Как, по-вашему, о чём этот маленький рассказ? В чём смысл его названия? Почему оно дано без восклицательного знака?

2. В чём вы видите особенности построения этого рассказа? Как это воздействует на его эмоциональное восприятие читателем?

3. Чего больше в рассказе – эпического или лирического? Обоснуйте свою точку зрения.

4. Проследите за поведением героини рассказа Анны Модестовны. Что можно сказать о её характере, обстоятельствах, в которых она живёт? Почему так привлёк её внимание образ прохожего и чем вызвал неприязненное чувство? Что думает о прохожем автор?

▸▸**1.** На страницах небольшого рассказа даётся достаточно развёрнутое описание осенней природы в городе. Почему, по-вашему, автор прибегает к такому приёму? Какова роль пейзажа в рассказе «Как жаль»?

2. Какое время описано в рассказе? Ощущается ли ожидание чего-то нового, каких-то обнадёживающих перемен?

3. Проанализируйте диалог Анны Модестовны с милиционером. В чём причина её страха?

4. Какое отношение вызывает газетная статья у Анны Модестовны и самого автора? Что значит определение автора «корреспондент нескупого пера»?

▸▸▸**1.** Как проявилась авторская позиция в финале рассказа?

2. Прочитайте самостоятельно и проанализируйте один из рассказов Солженицына, например «Случай на станции Кочетовка» или «Правая кисть».

Писатели русского зарубежья

Художественные произведения русской литературы, созданные писателями русского зарубежья, живут в памяти поколений. Многие из этих произведений стали классикой родной литературы – совершенна их форма и, что особенно важно, – они ставят судьбоносные проблемы, предлагают решения, которые важны и для нас: «Зарубежная русская литература есть временно отведённый в сторону поток общерусской литературы…»

После революции 1917 года уехали за рубеж многие признанные писатели: А. И. Бунин, К. Д. Бальмонт, Б. К. Зайцев, А. И. Куприн, И. Северянин, И. С. Шмелёв, Саша Чёрный… Среди них были и те, кто только что успел заявить о себе: М. Цветаева, М. Алданов, Г. В. Иванов, В. В. Набоков.

Писатели покинули Родину, но не оторвались от её культуры. И в зарубежье их творчество вдохновляли строки любимых авторов. Ставший писателем в годы эмиграции Набоков утверждал: «Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырём углам моего мира».

Трагизм судьбы Родины и своего поколения Набоков ощущал остро и даже вполне конкретно.

Владимир Владимирович Набоков (1899–1977)

Расстрел

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнёт в меня, —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.

Тема Родины звучит уверенно и постоянно в его лирике.

Родина

Бессмертное счастие наше
Россией зовётся в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твоё жало?
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
а гордые музы России
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму
лесов на равнинах родных,
за ими внушённую думу,
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружён.

Набоков – писатель XX века, который признан и как классик русской и как классик американской литературы. Он остро

ощущает связь поколений. Ради этого стоит вспомнить лишь одно его стихотворение – «Будущему читателю»:

<…>
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.

Хочется надеяться, что каждый из вас непременно познакомится с творчеством Набокова – с его стихами, прозой, пьесами и публицистикой.

Георгий Владимирович Иванов (1894–1958)

Среди множества имён писателей русского зарубежья назовём ещё одно. Многими признан как лучший поэт русского зарубежья Георгий Иванов. Тоской по утерянной Родине проникнуты строки его стихов.

Россия счастие, Россия свет…

Россия счастие, Россия свет.
А может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал.

И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля, —

Снега, снега, снега… А ночь долга,
И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега… А ночь темна,
И никогда не кончится она.

Россия тишина. Россия прах.
А может быть, Россия только страх.

Верёвка. Пуля. Ледяная тьма.
И музыка, сводящая с ума.

Верёвка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья в мире нет.

Но писателей и поэтов, покинувших Родину, не покидало чувство причастности к свершениям родной страны. Так, Г. Иванов сразу же откликнулся на взятие Берлина.

На взятие Берлина русскими

Над облаками и веками —
бессмертной музыки хвала:
Россия русскими руками
себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьётся знамя,
и те же вещие слова:
«Ребята, не Москва ль за нами?»
Нет, много больше, чем Москва!

Лирика поэтов русского зарубежья не ограничена темой утраченной Родины – она живёт жизнью эпохи – тесно связана и с традициями русской классики, и с новыми, только что заявившими о себе проблемами.

Писатели русского зарубежья заняли своё место в истории русской литературы и воспринимаются сегодня в едином общем потоке её свершений.

Вопросы и задания

▸**1.** Каких авторов русского зарубежья вы читали? Какие их произведения вам более всего понравились?

2. Какие строки лирики остались в памяти?

▸▸**1.** Что помогает уловить связь времён в творчестве писателей русского зарубежья: тематика, обращение к традиционным жанрам, активность использования одних и тех же приёмов?

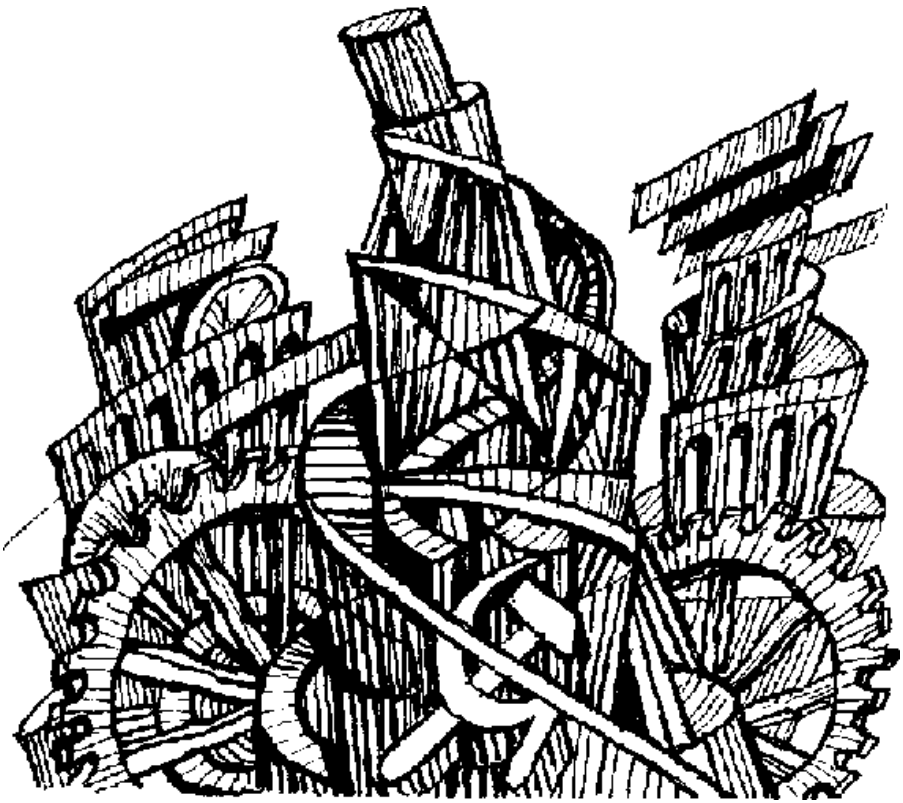
2. Определите стихотворные размеры, чаще всего используемые в творчестве поэтов Набокова, Иванова.

▸▸▸**1.** Какие имена и произведения представляют для вас русское зарубежье?

2. Какую роль в творчестве авторов русского зарубежья играет тема Родины? Назовите произведения, посвящённые этой теме.

3. Очевидна ли для вас связь русской отечественной литературы и литературы русского зарубежья? Приведите свои доказательства такой связи.

Русская литература 60–90-х годов XX века



Василий Макарович Шукшин (1929–1974)

Василий Макарович Шукшин – талантливый писатель и сценарист, режиссёр и киноактёр, человек необычной творческой судьбы.

Родился в селе Сростки Алтайского края. После окончания семи классов работал в разных городах, был слесарем, маляром, грузчиком. По призыву в армию служил четыре года на флоте. В 1954 году поехал в Москву поступать в Институт кинематографии, выдержал экзамены и стал блестящим учеником Михаила Ромма на режиссёрском факультете. В 1963 году Шукшин впервые выступил как режиссёр и автор сценария фильма «Живёт такой парень» об обаятельном, добром, красивом душой Пашке Колокольникове, стремящемся всем делать добро.

Параллельно с работой в кинематографе начинают выходить

сборники рассказов «Сельские жители», «Земляки» и первый роман «Любавины». Критики, читатели и зрители отметили, что в литературу и кино вошёл яркий талант со своей темой и своим героем.

В произведениях Шукшина живут бесхитростные и безыскусственные люди деревни, его земляки. Описывая обыденное, он нашёл там много нового, неизвестного, глубинного. Красоту и силу своих героев Шукшин видит в безоглядной любви к людям. Его типичный герой – это чудаковатый человек, «чудик», душевный, искренний, отзывчивый в радости и беде. Таков, к примеру, Василий Егорыч Князев, тридцати девяти лет от роду, сельский киномеханик («Чудик»). «Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные».

Тяга к необычному, духовному, выходящему за пределы обыденного, характерна для героев шукшинских рассказов. Они остро реагируют на зло и несправедливость, живут по велению сердца, часто испытывают тоску, беспокойство. Им противостоят те, которые заботятся только о своём благополучии, унижают человеческое достоинство других людей («Срезал», «Беседы при ясной луне», «Обида», «Крепкий мужик», «Постскриптум»).

Шукшину было свойственно обострённое чувство правды, которое корнями уходило в опыт народа. «Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает правду».

Ванька Тепляшин

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине… Поговорили о чём-то между собой и сказали Ваньке:

– Поедешь в городскую больницу?

– Зачем? – не понял Ванька.

– Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот… Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть «тематический больной».

– А где тематический больной-то? – спрашивала сестра.

– Курит, наверно, в уборной, – отвечали соседи Ванькины. – Где же ещё.

– Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим…

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Всё рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни: как у него в прошлом году шофёрские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной…

– Лёд впереде уже о так от горбатится – горкой… Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг – вниз поехал!.. – Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое. – Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода – хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться…

– Ты прямо, как это… как в баню попал: «вылез, начинаю осматриваться». Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

– Я вру?! – Некоторое время он даже слов больше не находил. – Хот… Да ты что? Как же я врать стану! Хот…

И верно, посмотришь на Ваньку – и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже – уметь надо.

– Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

– Я, значит, смотрю вверх – вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился… Я туда погрёб.

– Да сколько ж ты под водой-то был?

– А я откуда знаю? Небось, недолго, это я рассказываю долго. Да ещё перебивают…

– Ну, ну?

– Ну, вылез… Ко мне уже бегут. Завели в первую избу…

– Сразу – водки?

– Одеколоном сперва оттёрли… Я целую неделю потом «Красной гвоздикой» вонял. Потом уж за водкой сбегали.

…Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живёт чужая его уму и сердцу улица. Странно живёт: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице – по людям, по машинам… Ещё пройдёт, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке, Ванька проводит её взглядом. А так – всё одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом

мире внизу вдруг увидел свою мать… Пробирается через улицу, оглядывается – боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

– Мама идёт! – закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

– Где, Ваня?

– Да вон! Вот, с сумкой-то! – Ванька свесился с подоконника и закричал: – Ма-ам!

– Ты иди встреть её внизу, – сказали Ваньке. – А то её ещё не пропустят: сегодня не приёмный день-то.

– Да пустят! Скажет – из деревни… – Гадать стали.

– Пустят! Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал её.

– Это ко мне! – издали ещё сказал Ванька. – Это моя мать.

– В среду, субботу, воскресенье, – деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал её.

– Назад.

– Да ко мне она! – закричал Ванька. – Ты что?!

– В среду, субботу, воскресенье, – опять трижды отстукал этот… вахтёр, что ли, как их там называют.

– Да не знала я, – взмолилась мать, – из деревни я… Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть…

Ваньку впервые поразило, – он обратил внимание, – какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос… И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

– Помолчи, мам.

– Да я вот объясню товарищу… Чего же?

– Помолчи! – опять велел Ванька. – Товарищ, – вежливо и с достоинством обратился он к вахтёру, но вахтёр даже не посмотрел в его сторону. – Товарищ! – повысил голос Ванька. – Я к вам обращаюсь!

– Вань, – предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.

Красноглазый всё безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

– Пойдём вон там посидим, – изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтёром. И пошёл

мимо него.

– Наз-зад, – как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтёра и, бледнея уже, но ещё спокойно, сказал матери:

– Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька – ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дёрнул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

– Ещё раз замечу, что ты свои руки будешь распускать… – заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова, – я тебе… я буду иметь с вами очень серьёзный разговор.

– Вань, – чуть не со слезами взмолилась мать. – Господи, Господи…

– Садись, – велел Ванька чуть осевшим голосом. – Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришёл в движение и подал громкий голос тревоги.

– Стигнеев! Лизавета Сергеевна!.. – закричал он. – Ко мне! Тут произвол!.. – И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйнопомешанного, пошёл на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только весь напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: – Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке…

– А? – спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

– Ко мне! – закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его… Вахтёр отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел «произвол» и бросился на Ваньку.

…Ваньку им не удалось сцапать… Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька ещё стерёгся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но всё равно, тумбочка вахтёрская полетела, и с неё полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся… Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин… Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повёл. Он очень расстроился.

– Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

– На кой черт ты связался-то с ним? – никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

– Он мать не пустил.

– Да сказал бы мне, я бы всё сделал! Иди в палату, я её приведу.

– Не надо, мы счас домой поедем.

– Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своём кабинетике… Сказал даже так:

– Пусть твоя мама поживёт пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе…

– Нет, – сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого… – Нет. Что вы!

– Но я же не выпишу тебя!

– Я из окна выпрыгну… В пижаме убегу ночью.

– Ну-у, – огорчённо сказал Сергей Николаевич. – Зря ты.

– Ничего. – Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора… жалко, что он огорчился. – А вы найдёте кого-нибудь ещё с язвой… У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

– Не в этом дело. Зря ты, Иван.

– Нет. – Ваньке становилось всё легче и легче. – Не обижайтесь на меня.

– Ну, что ж… – Сергей Николаевич всё же очень расстроился. – Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься…

– Нет. Решено.

Ванька помчался в палату – собрать кой-какие свои вещички.

В палате его стали наперебой ругать:

– Дурак! Ты бы пошёл…

– Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довёл бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

– Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь

поправить. Эх ты!

– Надо человеком быть, – с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька. – Ясно?

– Ясно, ясно… Зря порешь горячку-то, зря…

– Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и всё было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с лёгкой душой поскакал вниз.

Надо было ещё взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

– Выгнали? Ну вот…

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:

– Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и всё – никакого шуму не было бы. Молодёжь, молодёжь… Неужели трудно догадаться?

– Надо человеком быть, а не сшибать полтинники, – опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

– Ботинки эти? Твои?

– Мои.

– Не долечился и едешь…

– Дома долечусь.

– До-ома! Дома долечисся…

– Будь здоров, Иван Петров! – сказал Ванька.

– Сам будь здоров. Попросил бы врача-то… может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтёром и вытирала полушалком слёзы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор – на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил – хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

– Будь здоров! – сказал Ванька. – Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул – всё смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хвалёной-перехвалёной горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

– Не плачь, – сказал Ванька матери. – Чего ты?

– Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться, – сказала

мать свою горькую думу. – Из ФЗУ тада тоже…

– Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Ещё тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

– Много так сделаешь – не просить-то!

– Ну… и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

– Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию – побегай-ка за имя, да не попроси… Много соберёшь?

– Ладно, ладно… – Мать никогда не переговорить. – Как там, дома-то?

– Ничо. У себя-то будешь долёживать?

– Та-а… не знаю, – сказал Ванька. – Мне уже лучше.

Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

Вопросы и задания

▶**1.** В чём вы усматриваете основную тему и идею рассказа?

2. Найдите в тексте рассказа слова, которые помогут сформулировать его основную идею.

3. В каких ситуациях, изображённых Шукшиным, особо остро отстаивается авторская позиция?

4. Почему Ваньке не понравилось в больнице?

▶▶**1.** Какое социально-нравственное явление символизирует образ красноглазого вахтёра? Какие художественные средства использованы для его создания? Какие синонимы заменяют слово «говорил» по отношению к вахтёру? В чём их смысл?

2. Что означают слова «тематический больной»? Какую роль они играют в этом рассказе?

3. Как вы думаете, связаны ли с идейным смыслом рассказа имя и фамилия героя?

▶▶▶**1.** Охарактеризуйте героя рассказа. Почему у него постоянно возникают конфликты с окружающими людьми?

2. Можно ли Ваньку Тепляшина отнести к разряду шукшинских «чудиков»? Мотивируйте свой ответ.

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001)

И коль выпало на долю родной литературы заменить собой церковь, стать духовной опорой народа, она

должна была возвыситься до этой своей святой миссии. И она поднялась!

В. П. Астафьев

Основная идея произведений В. П. Астафьева – ответственность человека за всё, что есть на Земле. Писатель провозглашает этические ценности, присущие народной жизни. Среди его произведений – «Стародуб», «Кража», «Где-то гремит война», «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Печальный детектив», «Жизнь прожить», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты».

«Царь-рыба» оказалась одним из глубоких произведений русской прозы 70-х годов. Автор-рассказчик, наблюдая так называемый экологический разбой, пришёл к выводу, что сейчас преобладают люди двух типов: браконьеры (переродившиеся потомки крестьян) и «туристы по жизни» (такие, как Гога Герцев). Автор заканчивает своё повествование цитатой из «Книги Екклезиаста»: «Всему свой час и время всякому делу под небесами». В уничтожении природы есть всемирно-историческая необходимость, неуклонность. На протяжении всего послевоенного времени люди не сбавляют темпы лесоповала, несмотря на предупреждение учёных: если эти темпы будут сохранены и впредь, то последнее на земле дерево человек свалит на земле через семьдесят лет. В «Книге Екклезиаста» есть и такие слова: «Что пользы живому, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст тогда смертный за душу свою?»

В словах «нет мне ответа», заканчивающих повесть, есть горькая правда: народного, человеческого измерения у процесса опустошения Земли нет. В этой книге Астафьев проявляет интерес не к поступку, а к процессам познания мира, не к событию, а его философскому объяснению. Все сюжетные линии «Царь-рыбы» подчинены авторскому публицистически страстному изучению противоречий жизни. «Я писал о том, что для меня было личным, кровным, а оказалось, мою тревогу разделяют многие и многие…» Свободная композиция, сюжетная раскованность, форма притчи – особенности повествования В. Астафьева.

Царь-рыба. ***Повествование в рассказах. Фрагменты***

В посёлке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе – Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату,

так и ко всем остальным чушанцам, относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не воротился, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату при дележе добычи, не крохоборничал. <…>

В студёный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, вертелась возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, угодил он им под самую каргу, а это даётся уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряду самуё не бросить – зависнет самолов и далеко не сплыть – рыба проходом минует самолов. Чутьё, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою, с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке…

К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир на берегу – обсечённая по макову ёлка, так хорошо видная тёмной колоколенкой даже на жидком снегу, упёрлась в низкие тучи, мозглый воздух застелил берег, землю, жестяно и рвано отблескивающая в ночи река ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промёрз вроде бы до самых костей, но зато лишь подцепил, приподнял самолов, сразу почувствовал – на нём крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка – и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которые сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали остриём носа борт лодки – у этих повреждён спинной мозг, вязига проткнута, этой рыбине конец: с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырём, с порванными жабрами она не живёт. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды – дух из него вон и кишки на телефон.

Шла тяжёлая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал её Игнатьич, тем грузнее она делалась, остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков, – щёлкают тогда крючки о

борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся, рыбак, – цапнет уда мясо иль одежду. И ладно, крючок обломится или успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе…

Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора – подкрадётся во тьме, сцапает – сраму наберёшься, убытку не сочтёшь, сопротивляться станешь – тюрьма тебе. На родной реке татем живёшь и до того выдрессировался, что ровно бы ещё какой неведомый, дополнительный орган в человеке получился – вот ведёт он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушёл, азартом захвачен, устремления его – взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце – всё в нём направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живёт своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несёт круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недрёманным тьму ощупывает. Вдали огонёк искрой мелькнул, а оно уж трепыхнулось, зачастило: какое судно? Опасность от него какая? Отцепляться ль от самолова, пускать ли рыбину вглубь? А она живая, здоровенная, может изловчиться и уйти.

Напряглось всё в человеке, поредели удары сердца, слух напружинен до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьёт тело током, красная лампочка заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. <…>

В этот миг напомнила, заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз, в глубину, с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осётр, большой, но уже умаянный. За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, чёрного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперёд пошла, на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных стерлядей,

стряхивая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел!» – мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и вот увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: чёрный, лаково отблёскивающий сутунок со вкось обломанными сучьями; крутые бока, решительно означенные острыми панцирями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толчёном стекле, смешанном с дресвою. Что-то первобытное, редкостное было не только в величине рыбы, но и в формах её тела, от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих под ровно сострогнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста – на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осётра, закруглённые водой. Летошний осётр ещё и осётром не называется, всего лишь костерькой, после – карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку иль на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерьке и хищнику никакому не слопать – распорет костерька, проткнет утробу. И вот – поди ж ты! – из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормыше, на козявках и вьюнцах! Ну, не загадка ли природы?!

Совсем где-то близко закрякал коростель. Игнатьич напрягся слухом – вроде как на воде крякает? Коростель – птица долгоногая, бегучая, сухопутная и должна до сроку убегти в тёплую сторону. А вот поди ж ты, крякает! На близком слуху – вроде как под ногами. «Не во штанах ли у меня закрякало?!» Игнатьич хотел, чтоб шутливые, несколько даже ернические штучки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но лёгкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, всепоглощающей страсти, от которой воет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло тёплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недрёманное ухо, око ли.

Рыба, а это у неё коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба показалась Игнатьичу зловещей. «Да что же это я? – поразился рыбак. – Ни Бога, ни чёрта не боюся, одну тёмну силу почитаю… Так, может, в силе-то и дело?» – Игнатьич захлестнул тетиву самолова за

железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава, осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осётра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с жёлтым ободком вокруг тёмных, с картечины величиною зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.

Осётр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему ещё пяток – боровина даже не дрогнул от острых уколов, просёкших сыромятно-твёрдую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в неё бьющей воде, взять на типок тетеву, чтобы пообрывать поводки самолова, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки. <…>

Упускать добычу такую нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову. <…>

Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова – больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел её, конечно, изловить, увидеть, но, само собой, и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить её, клятую, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать её. Но раз вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове и в сердце твёрдость – мало ли чего плели ранешние люди, знахари всякие и дед тот же, жили в лесу, молились колесу…

«А-а, была – не была!» – удало, со всего маху Игнатьич жихнул обухом топора в лоб «царь-рыбу» и по тому, как щёлкнуло звонко, а не глухо, без отдачи гукнуло, догадался – угодило вскользь. Надо было не со всего дурацкого маху бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь всё решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил её в лодку. Готовый издать победный вопль, нет не вопль – он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, – просто тут, в лодке, дать ещё разок по выпуклому черепу осётра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно. Ещё вдох, усилие – крепче в борт ногою, твёрже упор. Но расходившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и чёрно поднявшимся ворохом не воды, нет, а комьями взорвалась река за бортом. Ожгло, ударило рыбака тяжестью по голове, давнуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-

ах!» – вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту: слабеющим рассудком успел он ещё отметить – «так вот оно как, на войне-то…».

Разгорячённое борьбой нутро оглушило, стиснуло холодом. Вода! Он хлебнул воды! Тонет! Кто-то его тащил за ногу вглубь. «На крючке! Зацепило! Пропал!» – и почувствовал лёгкий угол в голень ноги – рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность, промельк мысли: «Тогда что ж… Тогда всё…» Но был ловец сильным, жилистым мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолить не её, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: «У райских врат стучаться бесполезно…» <…>

И рыба и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свёртывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало её в рыбе. Зачем ей кровь? Она живёт в воде. Ей греться ни к чему. Это ему, человеку, в тепло надо, он на земле обитает. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке, в холодной осенней воде. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя, дома, и ума у неё не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки. И всё. Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему…

«Чем? В чём поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» Ловец крепче сжал твёрдый бок лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за борт такой близкой, такой невысокой лодки! Но потревоженная рыба раздражённо чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнули ногу рыбака. «Да что же это такое!» – всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно её дыхания, слабо шевелилась на ней вода, он притаённо обрадовался – рыба засыпает, вот-вот она опрокинется вверх брюхом! Уморило её воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком.

Он затих, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрёму. Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью. Она работала

жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Рыба рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву. Морок успокоительного сна накатывал на неё и на человека, утишая их тело и разум.

Зверь и человек в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один – медведь, волк, рысь – грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с жёлтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет – у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза – такое-то на свете бывало ль?

Хотя на свете этом всё и всякое бывало, да не всем людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдёт с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! Растеребит его удами в клочья, иссосут его рыба да вьюны, жучки-козявки разные да водяные блошки-вошки остатки доточат. И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вот старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду – и с концом. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнёт куда… <…>

– Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! – дёрнулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. – Уходи! Уходи! Ухо-ди-и-и-и!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила водою, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, приподнялся, достал подбородком борт, завис на нём. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать. И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть:

– Ну, что тебе? – дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал. – Всё одно околеешь… – Подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: —…Уснёшь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? – и задрожал, зашептал губами, гаснущим шёпотом зовя: – Бра-ате-ельни-и-и-ик!..

Прислушался – никакого отзвука! Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытьё. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах

зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком – она тоже завяла, но всё ещё не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осётра уже не крякали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

По реке чуть посветлело. Далёкое небо, лужённое изнутри луной и звёздами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребённое сено, почему-то не смётанное в стога, сделалось выше, отдалённей, и от осенней воды пошло холодное свечение. Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретый слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх. Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то жёлтый, ровно керосиновым фонарём высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, тёплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачёсанный зарод с остриём жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же всё жёлтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет – ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без передыху звонят они, заполняя всё вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! – очнулся Игнатьич. – Может, я уж на дне? Жёлто всё…»

Он шевельнулся и услышал рядом осётра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал – рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подрёмывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление её быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздём процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчуждённо, однако ж не без умысла вперившийся в него бесстрашный взгляд – всё-всё подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, что-то греховное, человечье есть в муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то сладостное, тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушачьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в

плотно западающую щель, то отрыгивающее воду в трубку. Чего у неё ещё было, кроме стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из хлама козявок?! Нагуливала она икру и раз в году тёрлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что ещё было у неё? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая отвратная эта рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо её, сплошь в прослойках свечного, жёлтого жира, едва скреплённое хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей в придачу, и нос, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью чёрной икры, какой тоже нет у других рыб, – всё-всё отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за неё, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а умственно на реке пребывает, сердце дёргается, ноги дрыгаются, кость в теле воет – она, рыба, поймалась, идёт! Идёт, идёт! Пришла вот! Самая большая! Царь-рыба! Да будь она… Сколь помнится, всё в лодке, всё на реке, всё в погоне за нею, за рыбой этой проклятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной затянуло, захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал – некогда. Был председателем школьного родительского комитета – содвинули, переизбрали: не заходил в школу. Наметили на производстве депутатом в поссовет – трудяга, честный производственник, и молча отвели – рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он всё время в погоне. Его-то никакой бандюга не достанет! Ан и достали. Тайку-то, племяшку, любимицу!..

А-ах, ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубиное – всмятку. Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого вспомнила, пусть умственно, про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали? По реке они, по воде на моторках бегали, за рыбой гонялись, хитрили, изворачивались, теряя облик человеческий… <…>

Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на её широкий бесчувственный лоб, бронёю защищающий хрящевину башки, жёлтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются. Озарённо, в подробностях обозначилось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чём вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя

наваждение, заслонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пришла пора отчитаться за грехи, пробил крестный час. <…>

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла – всё слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чём он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, даже боль и душевные муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением – он никогда его не знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая в нём слух. Густой комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы и ткнуло – под сосцом, в ещё неостывшем теле вспыхнул свет. Человек напрягся, открыл глаза – по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже отстранённый от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанью, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым её током он приказал себе ждать: пустая трата сил, их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови-надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала её когда-то из чёрной мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучала в брачные времена, в таинственный час икромёта.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Ещё и ещё била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав своё тело в клочья, унося в нём десятки смертельных уд.

Яростная, тяжко раненная, но не укрощённая, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Я про тебя никому не скажу. Поживи сколько сможешь!» – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нём сутунком, а душе – от какого-то, ещё не постигнутого умом, освобождения.

Вопросы и задания

1. Прочитайте предложенный текст из произведения Астафьева «Царь-рыба», подумайте над его смыслом.

2. Проанализируйте раздумья Игнатьича. О чём сожалеет он и почему?

3. Почему стало на душе Игнатьича легче, когда освободилась царь-рыба? Почему он обещает никому ничего не говорить о ней?

1. Какими художественными средствами передаёт своё отношение писатель к миру природы?

2. Какие особенности авторского повествования вы заметили?

Идея преемственности поколений – главная в повести **«Последний поклон»**. В значительной мере она автобиографична и рассказывает о детстве и юности главного героя Вити, судьба которого связана с жизнью многих людей, счастливых и неудачных. Большую роль в его жизни сыграла бабушка, внешне суровая, но очень добрая, отзывчивая, отдавшая людям много тепла и доброты. «В дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходит пожалеть её и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, – очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался её, ссорился с ней, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

„Что же за болезнь такая у тебя, бабушка?“ – как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с ней на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, бабушка неторопливо начинала повествовать о себе:

– Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет я в работе, в труде. У тяти и у мамы я сёмая была, да своих десятину подняла… Это легко только сказать. А вырастить?! Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по её рассказам так, что радостей в её жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелёгкой жизни».

Когда умерла бабушка, Витя находился на Урале, работал на заводе, и его не отпустили на похороны: к бабушке – не положено.

«Я ещё не осознавал тогда всю огромность потери, постигшей меня. Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть глаза бабушке, отдать ей последний поклон.

И живёт в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед бабушкой, я пытаюсь воскресить её в памяти, поведать о

ней другим людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали они её, и была бы её жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта».

Валентин Григорьевич Распутин (Родился в 1937 году)

Валентин Григорьевич Распутин родом из села Усть-Уда Иркутской области. В памяти остались уход на фронт отца, голодные послевоенные годы, описанные в рассказе «Уроки французского». По словам писателя, такие воспоминания детства, как описанные в этом рассказе, греют даже при слабом прикосновении к ним.

В повестях Распутина выражена глубочайшая любовь к сибирской деревне, её людям. Эти люди «наедине с природой и трудами… всю жизнь при истине и Боге… не распылили и не раскрошили свою жизнь на кривые побегушки по пустым весям, учениям и страстям». Благоговейное и трепетное отношение вызывает у писателя природа Сибири. «И теперь ещё я в буквальном смысле обмираю, теряя себя, когда где-нибудь вдали от людской толчеи расстелется вдруг перед глазами, особенно в вечерние часы, такая красота и благодать, что нельзя не ощутить себя счастливым. И одновременно нельзя не испытывать боли, пусть сладкой, но всё-таки боли, оттого, что ты немее всех в этом мире, ибо и в малой доле не дано тебе выразить его словами. Кажется, только Бунину удавалось иногда считывать чудесные „сказания“ со страниц Природы», – делился Распутин своими раздумьями в одном из интервью.

Единение человека и природы, сложность внутреннего мира человека – эти проблемы объединяют повести Распутина: «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар».

Деньги для Марии. *Фрагменты*

В семью тракториста Кузьмы и сельской продавщицы Марии пришла беда. При ревизии оказалась у Марии недостача в тысячу рублей, на сумму для этой семьи неимоверно большую. Понимая, что растрата совершена без злого умысла, наоборот, по доверчивости и доброте, по незнанию бухгалтерского дела (с фактурой в сельпо обмануть могли, не всегда сама ездила товар получать, целый год учёта не было), сочувствуя семье с детьми, ревизор предлагает Марии и Кузьме в пятидневный срок

внести в кассу деньги, пока он будет объезжать с ревизией другие точки. В этом случае он сможет дело не поднимать. Иначе – Марию ожидает суд…

Муж Марии Кузьма идёт к односельчанам занять нужную сумму денег.

Сначала Кузьма явился к председателю колхоза, который пообещал дать ссуду по окончании отчётного года, а пока посоветовал под эту ссуду позанимать деньги у односельчан.

С неохотой, оговорками, многословием о необходимости выручать друг друга согласился дать сто рублей директор школы Евгений Николаевич – ему придётся ехать в район и снимать с книжки.

<…> Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учёт, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради неё на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но её не срывали – опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учёт не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый – уже сколько народу пострадало из-за него! Ещё надо благодарить Бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за её хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за её бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от неё с двумя ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и всё же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у неё была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек её отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Фёдора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинскими. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своём, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошёл, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем

девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте: захочет – откроет магазин, не захочет – не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезёт с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар – попробуй докажи, что она гуляла. В деревне её не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но её не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца – в продавцы больше никто не шёл. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать вёрст в Александровское, а туда приедешь – когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить – деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно, – нет, надо терять день, а то и два.

Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие – но только после того, как родит. Ей оставалось ходить ещё месяца два, после родов тоже за прилавок её сразу не поставишь – значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, всё одно к одному сходилось. Её последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы ещё полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжёлую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдёшь её, лёгкую работу? Даже заикаться о ней неудобно – вот и ворочала всё подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария всё же опасалась, что так её ненадолго хватит, а ребятишки ещё маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили ещё в старом доме, который стоял рядом с магазином – тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если

кому надо в магазин – крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И всё же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

– Тут и не такие головы летели, куда уж мне, – отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришёл к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

– Смотри сама, Мария. – И отшутился: – Если что – корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

– Не знаю, как и быть, – повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыла, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у неё сделали учёт. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдёшь. Всё сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно всё и вышло. <…>

Ревизию она начала просить ещё с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал её о чём-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без неё, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала её затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить – было больно и страшно, о чём бы она ни подумала, как бы ни повернулась, всё равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришёл Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас её, – с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на неё, потом лёг рядом и приласкал, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула – даже не уснула, а забылась, не страдая, – так пусто и хорошо стало на душе. <…>

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудрённое с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймёт и поможет.

Вечером Кузьма пошёл к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке – на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шофёры, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго ещё мусолил её на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины ЗИС-150, которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем ЗИСе проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чём попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берёг

в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был ещё один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался. Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться ещё рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять её было уже поздно. Василий сказал:

– Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

– Зайду, – пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живёт хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провёл тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберётся вся родня, но почему-то так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живёт два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее.

Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да ещё были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

– Ну как, был у брата?

– Был, ага, заходил.

– И как он там?

– Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, – уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

– Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем отрезанный ломоть – и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Фёдором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов, брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и своё детство, а деревня постепенно забывала, что был у неё когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Всё-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

– Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

– Не даст он, – помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала. <…>

> Неудачным оказалось посещение Степаниды, женщины денежной, но весьма скупой. Никакие просьбы бригадира Василия и родной племянницы на неё не подействовали. Она бы, по её словам, с удовольствием дала бы деньги для спасения Марии, но у неё их нет. Скупость довела Степаниду до такого состояния, что она не может даже снять с книжки для самой себя, так люди могут узнать. Однако, все и так знают.
>
> На второй день Василий повёл Кузьму к своей больной матери, тётке Наталье.

Кузьма давно уже не видел тётку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели – никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тётки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведённая, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна, без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тётка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несётся по улице, любили спрашивать:

– Тётка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

– Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, её повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тётке Наталье.

В колхозе и сейчас ещё вспоминают, как тётка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочём потом этим зародам было любое ненастье, всё с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А ещё тётка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смольё на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от неё подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних

сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной для неё от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житьё, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тётка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нём Кузьма не сразу и разглядел тётку Наталью.

– Мать! – позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

– Василий пришёл. А второй – Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

– Давно, тётка Наталья.

– Поглядеть на меня пришёл? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у неё был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо её почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идёт не из неё, а звучит где-то рядом.

– Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, – говорила она, и слушать её надо было долго, хотелось в это время найти для себя ещё какое-нибудь занятие.

– Болит-то шибко? – спросил Кузьма.

– Совсем не болит. А ходить не могу. Встану – ноги не держат. Слабая.

– Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тётка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай теперь.

– А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

– Раз вставала, значит, и ещё встанешь.

– Не-е-ет, не встану. Духу всё мене и мене.

Василий перебил их:

– Мать, у тебя деньги есть?

– Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

– Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тётка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него.

Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

– У меня эти деньги на смерть приготовлены, – сказала тётка Наталья.

Кузьма удивился:

– Теперь что – и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

– Не-е. – Глаза у тётки Натальи слабо блеснули. – Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

– Будто мы бы тебе поминки не сделали, – буркнул Василий.

– Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подолгу меня поминали. Я не вредная была. Всё сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тётка Наталья спросила:

– Мария-то сильно плачет?

– Плачет.

– Деньги тебе отдам, а тут смерть… Как тогда?

– Опять ты, мать, об этом, – поморщился Василий.

– Я ей уже согласие дала, – виновато сказала тётка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тётку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед тёткой Натальей, как перед святой, она отошла чуть в сторонку, пустив её на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тётка Наталья отступить не может, а вперёд ей ещё можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тётка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тётка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

– Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрёпанный чемодан и нашёл в нём небольшой, в красной тряпке свёрток. Она разворачивала его и говорила:

– Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подожду. Но ты, Кузьма, не задерживай. Силёнок совсем не стало.

– Ты лучше поправляйся, тётка Наталья, – зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

– А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

– Отдам, тётка Наталья.

Она спросила:

– На похороны-то придёшь?

Он замялся.

– Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света. <…>

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ – ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Несладко было смотреть, как падает зерно, – после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки – да много ли этим уберёшь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажёг на берегу костёр и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошёл председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома – не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил, и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трёх человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали всё, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились, а может, ещё и навредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии.

Хотели снова назначить его председателем – нельзя: был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и ещё раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, – будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

– Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

– Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

– Все вместе, что ли?

– Ага, все вместе.

– Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

– Бухгалтер не приехал?

– Нет, он к вечеру будет, не раньше.

– Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

– Кто?

– Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

– Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришёл агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, чёрт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело своё он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим человеком.

Он вошёл, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

– Садись пока, подождём.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так

давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе её всё равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у неё, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

– Где же он сразу пойдёт! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, ещё не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошёл к дивану и сел с краю.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял, что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

– Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезёт деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут ещё вот какое дело. – Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил – спокойным, ровным голосом. – Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдём и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он её возьмёт, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать её некогда. Поздно будет. А мы проживём, не пропадём. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

– Меня-то ты в какое положение ставишь? Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдёт.

– Тебя никто не спрашивает. Спросят – тогда скажешь. – Председатель повернул голову к другой стене. – Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным, и в нём теперь видно всё то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними как на судилище и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже

пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан.

Но кто-то сказал:

– Дать, конечно, надо.

– Надо дать, – твёрдо повторил председатель. – Я говорю: мы не пропадём, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

– Согласны, чего там! – ответил за всех агроном. Остальные молчали.

– Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмёшь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

– Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? – оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

– Ты ничего не должен, – недобрым голосом сказал председатель. – Это дело добровольное. Не хочешь – забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаём полностью, а ты как знаешь. Вот так.

– Да я согласен, согласен, – торопливо закивал ветеринар.

– Смотри сам.

– Согласен, согласен.

– Не надо полностью. – Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. – Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. – Теперь он говорил специалистам: – Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали…

Председатель оборвал его:

– Ты тут не торгуйся. Дают – бери, бьют – беги, а торговаться нечего.

– Так у меня совесть-то есть или нету?

– Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? – Председатель раздражённо перебросил с места на место папку с бумагами. – Завтра придёшь и получишь все деньги, или можешь Марии

сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадёшь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

– Да я разве…

– Всё. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушёл сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались втроём: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на своё место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

– Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

– Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться. <…>

Желая помочь Кузьме и Марии, председатель пошёл на решительный шаг и созвал на совет специалистов. Что же за человек этот председатель?

Вечером, как и обещал, принёс деньги Евгений Николаевич, поинтересовался, дадут ли ссуду. «Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надёжный, за тобой не пропадёт».

Наступил третий день. Кузьма пошёл получать деньги в контору, ожидал шестьсот сорок рублей. Но начались неожиданности. Сначала подошёл механик, попросил дать часть своей зарплаты, чтобы принять в гости товарища. Недоброжелательно встретил его бухгалтер, который объявил, что свою зарплату отдать не может – не знал о решении, когда получал для коллектива деньги в городе, и истратил её в магазине: жене на зиму тужурку купил, себе валенки. И говорил об этом с явным удовольствием. Домой к Кузьме пришла жена ветеринара.

Губы её задрожали сильнее:

– А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

– Мы их месяц ждали. – Голос у неё подрагивал, сдерживался,

чтобы не забиться, не заплескаться. – У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь? <…>

Пришлось отдать деньги жене ветеринара. Вновь их стало мало. И тогда Кузьма решается ехать в город к брату Алексею, с которым не виделся семь лет. Брат, говорят, живёт хорошо, но, считая его отрезанным ломтём, Кузьма и Мария не надеялись, что он поможет. Однако безвыходность создавшегося положения заставила Кузьму ехать. Именно со сборов в поездку и начинается повесть «Деньги для Марии». Все приведённые выше эпизоды вспоминаются Кузьме уже в пути, перемежаются его собственными размышлениями о жизни, Марии, деньгах, односельчанах, наблюдениями за попутчиками. Итак, он подъезжает к городу.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждёт впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что всё за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поёжился, говоря себе, что всё дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он падает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть.

Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока ещё редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идёт к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдёт. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку, а к брату, но брат как спасение из мыслей всё время ускользает, и остаётся одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас – это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всём договорился – после этого, как добрый знак, чтобы она зря не

маялась, и пошёл снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идёт к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждёт впереди. Он оглядывается на людей – все смотрят в окна и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идёт по улице. Рассвело. Снег всё валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал – молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

Вопросы и задания

▸**1.** Почему Мария согласилась работать продавщицей, хотя у неё не было опыта, необходимых знаний?

2. В чём причины крупной недостачи у Марии?

3. Как складываются отношения Кузьмы и Марии с односельчанами после прихода в их дом беды?

4. Зачем Распутин проводит Кузьму в поисках денег от дома к дому односельчан? Покажите, как меняется психологическое состояние Кузьмы.

▸▸**1.** Как вы думаете, почему события первых трёх дней представлены в повести как воспоминания Кузьмы во время его поездки к брату в город? В чём смысл такого композиционного приёма?

2. Почему финал повести остаётся открытым?

▸▸▸**1.** Почему Кузьма идёт даже в те дома, хозяева которых явно ему не помогут (Степанида)? Только ли тяжёлое положение героя ведёт его к этим людям? Почему Кузьма обращается к тем, от кого нелегко получать помощь (Евгений Николаевич)?

2. Проанализируйте сцену собрания специалистов. Какова основная идея этого эпизода повести? Попытайтесь определить позицию автора.

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972)

Александр Вампилов молодым вошёл в литературу и молодым остался в восприятии читателей и зрителей.

Будущий драматург родился в семье обрусевшего бурята, учителя словесности, в 1937 году. Учителем математики была мать Вампилова Анастасия Прокопьевна, человек большого такта и благородства.

После окончания школы Вампилов продолжает учёбу на историко-филологическом факультете Иркутского университета. В 1960 году он окончил университет, а в следующем году вышел первый сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». Затем писал пьесы, которые не сразу были высоко оценены и поставлены на сцене. Главное признание и даже слава пришли после его трагической гибели.

У Вампилова-драматурга особый мир. В нём нет крупномасштабных событий. Изображается будничная атмосфера, действуют самые обыкновенные люди с их повседневными заботами и интересами – всё как в жизни. Как правило, действие происходит в провинции, таёжной глубинке, либо на окраине большого города. Автор внимательно всматривается в быт, характеры, психологию людей. Предместье писатель рассматривает не как территориальное понятие, а как понятие нравственное. Герои пьес Вампилова показаны в напряжённые периоды их жизни, в самые решительные моменты, когда нужно расстаться с плохим, бездуховным. Они поставлены в такую ситуацию, которая требует решительного шага, от которого зависит вся дальнейшая судьба.

Старший сын. *Фрагменты*

Два молодых человека, студент Бусыгин и Сильва, случайно оказались поздно вечером в предместье, опоздали на автобус и потому пытаются найти себе ночлег. Однако никто их к себе не пускает, и формула «Человек человеку брат» звучит в данном контексте почти издевательски. Случайно узнав фамилию, имя, отчество и адрес одного из жильцов дома, они в его отсутствие приходят в квартиру, знакомятся с сыном и дочерью, а затем совершенно неожиданно, произнеся фразу о «страждущем брате», выдают студента Бусыгина за старшего сына хозяина. Пришедший домой Сарафанов вспоминает свою военную молодость и находит возможным признать утверждение молодых людей за правду.

Жестокий розыгрыш, казалось бы, удался, но тут сюжет, начатый шуткой, фарсом приобретает неожиданный поворот. Доверчивость, некоторая наивность, даже романтичность Сарафанова, его склонность к фантазии (воображает себя одарённым музыкантом, пишет музыкальное сочинение, скрывает от родных, что уже не работает в филармонии, а зарабатывает на хлеб в оркестре на похоронных процессиях и т. д.) защитили его от возможной трагедии. Хотя Сарафанов подчас выглядит чудаком, держась за романтические идеалы молодости, сила его в том, что он не хочет зачерстветь, раствориться в суете, покрыться плесенью. И происходит совершенно неожиданное: когда «младшие» дети хотят уехать из дома, появляется этот так называемый старший, случайно явившийся, но ставший по настоящему родным. Бусыгин, который рос в детстве без отца, сумел оценить доброту и незащищённость Сарафанова, полюбить его. И когда обман разоблачается, старик всё равно не отказывается от «сына» и настаивает, чтобы тот переехал жить из общежития к нему. Вампилов в пьесе показывает преимущество духовного родства людей над формальными родственными связями.

Картина вторая, которую мы предлагаем вам прочесть, представляет сцену знакомства Сарафанова с Бусыгиным.

Действие первое

Картина вторая

Входят **Бусыгин** и **Сильва**. <…>

Входит **Васенька** с бутылкой водки, стаканами. Ставит на стол. Он смущён и растерян.

Сильва (*наливает*). Да ты не расстраивайся! Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается… За вашу встречу!

Пьют. Васенька с трудом, но выпивает.

Жизнь, Вася, – тёмный лес, так что ты не удивляйся. (*Наливает снова.*) Мы сейчас с поезда. Он меня просто замучил и сам извёлся: заехать – не заехать? А повидаться надо. Сам понимаешь, в какое время живём.

Бусыгин (*Васеньке*). Сколько тебе лет?

Васенька. Мне? Семнадцатый.

Сильва. Здоровый парнюга!

Бусыгин (*Васеньке*). Что ж… твоё здоровье.

Сильва. Стоп! Не так пьём. Не интеллигентно. Нет ли чего закусить?

Васенька. Закусить?.. Конечно, конечно! Пошли на кухню!

Сильва (*останавливает Васеньку*). Может, ему сегодня отцу не показываться, как ты думаешь? Нельзя же так с ходу, неожиданно. Мы посидим немножко и… придём завтра.

Васенька (*Бусыгину*). Ты не хочешь его видеть?

Бусыгин. Как тебе сказать… Хочу, но рискованно. Боюсь за его нервы. Ведь он обо мне ничего не знает.

Васенька. Ну что ты! Раз ты нашёлся, значит, нашёлся.

Все трое уходят в кухню. Появляется **Сарафанов**. Он проходит к двери в соседнюю комнату, открывает её, затем осторожно закрывает. В это время Васенька выходит из кухни и тоже закрывает за собой дверь. Васенька заметно опьянел, его обуяла горькая ирония.

Сарафанов (*замечает Васеньку*). Ты здесь… А я прогулялся по улице. Там дождь пошёл. Я вспомнил молодость.

Васенька (*развязно*). И очень кстати.

Сарафанов. В молодости я, бывало, делал глупости, но я никогда не доходил до истерики.

Васенька. Слушай, что я тебе скажу.

Сарафанов (*перебивает*). Васенька, так поступают только слабые люди. Кроме того, не забывай, остался только месяц до экзаменов. Школу тебе всё-таки надо кончить.

Васенька. Папа, пока ты гулял по дождичку…

Сарафанов (*перебивает*). И в конце концов, не можете же вы так сразу – и ты и Нина. Нельзя же так… Нет-нет, никуда ты не уедешь. Я тебя не пущу.

Васенька. Папа, у нас гости, и необычные гости… Вернее, так: гость и ещё один…

Сарафанов. Васенька, гость и ещё один – это два гостя. Кто к нам пришёл, говори толком.

Васенька. Твой сын. Твой старший сын.

Сарафанов (*не сразу*). Ты сказал… Чей сын?

Васенька. Твой. Да ты не волнуйся… Я, например, всё это понимаю, не осуждаю и даже не удивляюсь. Я ничему не удивляюсь…

Сарафанов (*не сразу*). И такие-то шутки у вас в ходу? И они вам нравятся?

Васенька. Какие шутки? Он на кухне. Ужинает.

Сарафанов (*внимательно смотрит на Васеньку*). Кто-нибудь

там ужинает. Возможно… Но знаешь, милый, что-то ты мне не нравишься… (*Разглядел.*) Постой! Да ты пьян, по-моему!

Васенька. Да, я выпил! По такому случаю.

Сарафанов (*грозно*). Кто разрешил тебе выпивать?!

Васенька. Папа, о чём речь? Тут такой случай! Я никогда не думал, что у меня есть брат, а тут – пожалуйста. Иди взгляни на него, ты ещё не так напьёшься.

Сарафанов. Ты что, шельмец, издеваешься?

Васенька. Да нет, я говорю серьёзно. Он здесь проездом, очень по тебе соскучился, он…

Сарафанов. Кто – он?

Васенька. Твой сын.

Сарафанов. Тогда кто ты?

Васенька. А! Разговаривай с ним сам!

Сарафанов (*направляется к кухне; услышав голоса, останавливается у двери, возвращается к Васеньке*). Сколько их там?

Васенька. Двое. Я тебе говорил.

Сарафанов. А второй? Он тоже хочет, чтобы я его усыновил?

Васенька. Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?

Сарафанов. По-твоему, не нужны?

Васенька. А, прости, пожалуйста. Я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители.

Молчание.

Сарафанов (*прислушивается*). Невероятно. Свои дети бегут – это я ещё могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие да ещё взрослые! Сколько ему лет?

Васенька. Лет двадцать.

Сарафанов. Чёрт знает что!.. Ты сказал, двадцать лет?.. Бред какой-то… Лет двадцать… (*Задумывается поневоле.*) Двадцать лет… двадцать… (*Опускается на стул.*)

Васенька. Не огорчайся, папа. Жизнь – тёмный лес…

Из кухни вышли было **Бусыгин** и **Сильва**, но, увидев Сарафанова, отступают назад и, приоткрыв дверь, слушают его разговор с Васенькой.

Сарафанов. Двадцать лет… Закончилась война… Двадцать лет… Мне было тридцать четыре года… (*Поднимается.*)

Бусыгин прикрывает дверь.

Васенька. Я понимаю, папа…

Сарафанов (*вдруг рассердился*). Да что вспоминать! Я был солдат! Солдат, а не вегетарианец! (*Ходит по комнате.*)

Бусыгин, когда это возможно, приоткрывает дверь из кухни и слушает.

Васенька. Я тебя понимаю.

Сарафанов. Что?.. Что-то слишком много ты понимаешь! С твоей матерью мы ещё не были знакомы, имей в виду!

Васенька. Я так и думал, папа. Да ты не расстраивайся, если разобраться…

Сарафанов (*перебивает*). Нет-нет! Глупости… Чёрт знает что…

Сарафанов находится между кухней и дверью в прихожую. Таким образом, у Сильвы и Бусыгина нет возможности бежать. <…>

Бусыгин и Сильва мгновенно делают вид, будто они только что вышли из кухни. Молчание.

Бусыгин. Добрый вечер!

Сарафанов. Добрый вечер!

Молчание.

Васенька. Ну, вот вы и встретились… (*Бусыгину.*) Я всё ему рассказал… (*Сарафанову.*) Не волнуйся, папа…

Сарафанов. Вы… садитесь… Садитесь! (*Пристально разглядывает того и другого.*)

Бусыгин и Сильва садятся.

(*Стоит.*) Вы… недавно с поезда?

Бусыгин. Мы… собственно, давно. Часа три назад.

Молчание.

Сарафанов (*Сильве*). Так… Вы, значит, проездом?

Бусыгин. Да… Я возвращаюсь с соревнований. Вот… решил повидаться…

Сарафанов (*всё внимание на Бусыгина*). О! Значит, вы спортсмен! Это хорошо… Спорт в вашем возрасте, знаете… А сейчас? Снова на соревнования? (*Садится.*)

Бусыгин. Нет. Сейчас я возвращаюсь в институт.

Сарафанов. О! Так вы студент!

Сильва. Да, мы медики. Будущие врачи.

Сарафанов. Вот это правильно! Спорт спортом, а наука наукой. Очень правильно… Прошу прощения, я пересяду. (*Пересаживается ближе к Бусыгину*.) В двадцать лет на всё хватает времени – и на учёбу и на спорт; да-да, прекрасный возраст… (*Решился*.) Вам двадцать лет, не правда ли?

Бусыгин (*печально, с мягкой укоризной*). Нет, вы забыли. Мне двадцать один.

Сарафанов. Что?.. Ну конечно! Двадцать один, разумеется! А я что сказал! Двадцать? Ну конечно же двадцать один…

Сильва. Да вы не огорчайтесь. Ведь если разобраться, тут радоваться надо, а не огорчаться. По-моему.

Васенька. В самом деле, папа.

Сарафанов. Я – конечно… Я рад… (*Искательно*.) Мы все здесь рады, не правда ли?

Бусыгин. Конечно… Больше всех – я.

Сарафанов (*приободрившись*). Васенька, есть у нас что-нибудь выпить? Дай нам выпить!

Васенька. Это можно. (*Уходит на кухню*.) <…>

Наутро Сарафанов поведал Бусыгину о своей жизни, её трудностях, о своём прошлом, о романе с Галиной Александровной, работницей швейной мастерской, предполагаемой, по его мнению, матерью Владимира Бусыгина, о том, как ушла от него жена, оставив Нину и Васеньку, рассказал о жизненных планах Нины, о своей тревоге за Васеньку, который безответно влюблён в Наташу Макарскую, женщину намного его старше, о стремлении младшего сына уехать из дома, чтобы убежать от своей личной драмы. И наконец, просит Бусыгина как старшего брата поговорить с младшим, помочь ему найти правильное решение.

Бусыгин же по мере углубления знакомства с домом Сарафанова привязывается к его обитателям и начинает действительно чувствовать себя старшим братом, готовым помогать Васеньке, опекать «отца». Только вот Нина вызывает у него не братские, а более интимные чувства, он ревнует её к жениху, летчику Кудимову, человеку рационалистичному и приземлённому, да и она, кажется, заинтересовалась Бусыгиным…

В это время Васенька, узнав, что у него появился счастливый соперник, Сильва, во время свидания Макарской и Сильвы делает попытку поджечь её дом. В

результате сгорают брюки Сильвы, и тот вбегает к Сарафановым, просит, чтобы ему дали в долг другие брюки.

Действие второе

Картина вторая

Сарафанов появляется с брюками в руках.

Сильва (*в дверях*). Ну, спасибо тебе, старичок, за всё спасибо. Настоящий ты оказался друг… Я ухожу. Но вначале я должен открыть глаза общественности. Хату поджёг он (*указывает на Бусыгина*), а не кто-нибудь. И воду тут у вас мутит тоже он. Учтите, он рецидивист. Не заметили?.. Ну смотрите, он вам ещё устроит. И между прочим (*Нине*), он тебе такой же брат, как я ему племянница, учти это, пока не поздно. (*Сарафанову*.) А вы, папаша, если вы думаете, что он вам сын, то вы крупно заблуждаетесь. Я извиняюсь.

Сарафанов. Вон отсюда! Вон!

Сильва исчезает.

Сарафанов. Мерзавец!

Небольшая пауза.

Бусыгин. Но он прав.

Сарафанов. Кто прав?

Бусыгин. Я вам не сын.

Сарафанов. Что такое?.. Что это значит?

Бусыгин. Я вам не сын. Я обманул вас вчера.

Сарафанов. Володя! Что ты говоришь!..

Бусыгин. Поймите, я не хотел! Всё вышло случайно. Вчера, когда вы (*в сторону Макарской*) к ней стучались, я узнал ваше имя и заметил вашу квартиру. С этого всё и началось. Мы хотели согреться и уйти…

Макарская. Погоди! Это ты искал вчера, где переночевать?

Бусыгин. Да. Всё вышло само собой. Утром, вместо того чтобы уйти…

Сарафанов. Это невозможно… Не верю. Не верю. Быть этого не может!

Бусыгин. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я… В

общем, я рад, что попал к вам…

Сарафанов. Значит, ты мне… Выходит, я тебе… Как же так?.. Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!

Бусыгин. Нет…

Сарафанов. Кто же ты? Кто?!

Нина. Он – псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся. Даже ты, папа, по сравнению с ним школьник. Он настоящий сумасшедший…

Васенька. Ну и дела…

Макарская. Да-а, история…

Сарафанов. Но я, я не верю! Не хочу верить!

Бусыгин. Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын. (*Взглянув на Нину*.) Но факт есть факт.

Сарафанов. Не верю! Не понимаю! Знать не хочу! Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!

Нина (*Бусыгину*). Я тебе говорила… (*Сарафанову, весело*.) А я? А Васенька? Интересно, ты ещё считаешь нас своими детьми?

Сарафанов. Нина! Вы все мои дети, но он… Все-таки он вас постарше.

Все смеются.

Макарская. Чудные вы, между прочим, люди.

Нина (*смеётся*). Чудные – чуть дом не сожгли.

Макарская махнула рукой.

Сарафанов. То, что случилось, – всё это ничего не меняет. Володя, подойди сюда…

Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов – все рядом. Макарская в стороне.

Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (*Всем троим*.) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное…

Макарская. Извините, конечно. (*Бусыгину*.) Но я хочу спросить. У тебя родители имеются?

Бусыгин. Да… Мать в Челябинске.

Нина. Она одна? (*Смеётся*.) Папа, тебя это интересует?

Бусыгин. Она живёт с моим старшим братом.

Нина. А сам ты? Как ты сюда попал?

Бусыгин. Я здесь учусь.

Сарафанов. Где же ты живёшь?

Бусыгин. В общежитии.

Сарафанов. В общежитии. Но ведь это далеко… и неуютно. И вообще, терпеть не могу общежитий… Это я к тому, что… Если бы ты согласился… Словом, живи у нас.

Бусыгин. Нет, что вы…

Сарафанов. Предлагаю от чистого сердца… Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори.

Нина (*капризно*). Ну с какой стати? Почему он должен жить у нас? Я не хочу.

Бусыгин. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый день. Я вам ещё надоем.

Сарафанов. Володя! Я за то, чтобы ты у нас жил, – и никаких.

Бусыгин. Я приду завтра.

Нина. Когда?

Бусыгин. В семь… В шесть часов… Кстати! Который час?

Нина. Половина двенадцатого.

Бусыгин. Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку.

Занавес.

Вопросы и задания

1. Почему Сарафанов поверил Бусыгину, что тот действительно является его старшим сыном?

2. Почему Сарафанов отказывается верить разоблачению Бусыгина и его собственному признанию?

3. Как бы вы охарактеризовали взаимоотношения Сарафанова с Ниной и Васенькой?

4. Что влечёт Бусыгина к Сарафанову и его семье? Почему он постоянно откладывает свой отъезд и фактически принимает на себя роль старшего сына и брата?

1. Сопоставьте отношения Бусыгина и родных детей Сарафанова к отцу. Что общего и различного вы находите в чувствах героев? В чём причины?

2. Какую роль, по-вашему, играет в пьесе Сильва, придумавший историю со «старшим сыном»? Как вы думаете, почему он носит такое прозвище?

3. Какие нравственные проблемы подняты драматургом в этой пьесе?

4. Как вы думаете, правдоподобна ли ситуация, изображённая в пьесе? Мотивируйте своё мнение.

Владимир Семёнович Высоцкий

(1938–1980)

Владимир Высоцкий – «поэт-бард, основоположник авторской песни, прозаик, актёр…» («Литература в школе от А до Я. 5–11 классы». М., 2006). Первый сборник стихов Высоцкого «Нерв» вышел в 1981 году после его смерти. Затем появилось много изданий его произведений. Р. Рождественский во вступлении к сборнику пишет:

«Эта книга – не песенник. Хотя, составляя её и перечитывая стихи Владимира Высоцкого, я всё время слышал его голос. За каждой строкой слышал, за каждым словом… Голос, который продолжает жить…». Наверное, такое же чувство испытывает каждый, – даже сегодняшний – читатель. Часто его стихи – это песни, написанные для фильмов и спектаклей. Они живы и сегодня.

Тематика произведений Высоцкого чрезвычайно богата. О его лирике часто говорят как об «энциклопедии советской жизни». Это песни о войне («Письмо», «Я полмира почти через злые бои прошагал…», «Он не вернулся из боя»…), о любви («Баллада о любви», «Баллада о двух погибших лебедях»…), об альпинизме («Песня о друге», «Прощание с горами»…). Среди них есть и философские размышления автора («Горизонт», «Песня о Земле», «Притча о Правде и Лжи»…), и сценки из реального быта, бродячие анекдотические сюжеты («Поездка в город», «Песенка про Кука»…).

Многие из них впервые прозвучали в кинофильмах тех лет («Вертикаль», «Хозяин тайги», «Интервенция», «Опасные гастроли», «Сыновья уходят в бой», «Бегство мистера Мак Кинли», «Стрелы Робин Гуда», «Ветер надежды», «Вооружён и очень опасен»…).

Создавал Высоцкий и песни для спектаклей: «Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые», «Последний парад», «Алиса в стране чудес»…

Его стихотворения близки по форме балладам, в них часто есть сюжет, звучат диалоги и исповедальные монологи. Записи песен, что доносят до нас его голос, до сих пор популярны – их любят слушать люди разных поколений.

Творчество Высоцкого – одно из самых ярких явлений в русской культуре 60–70-х годов XX века.

Он не вернулся из боя

Почему всё не так? Вроде – всё как всегда:
то же небо – опять голубое,

тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
в наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
он всегда говорил про другое,
он мне спать не давал, он с восходом вставал,
а вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь – не про то разговор:
вдруг заметил я – нас было двое…
Для меня словно ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалось – будто из плена весна —
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить!» – и в ответ – тишина…
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мёртвые нас не оставят в беде,
наши павшие – как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
нам и время – текло для обоих…
Всё теперь – одному. Только кажется мне,
это я не вернулся из боя.

Вопросы и задания

1. Какое ещё название вы могли бы дать этой балладе?

2. Какие чувства доносит до нас исповедь бойца?

3. Каким предстаёт перед вами облик того, кому принадлежит эта скорбная исповедь?

1. Какие приёмы использует автор, чтобы передать переживания оставшегося в живых солдата?

2. Почему в стихотворении нет имён? Нужны ли они в этом

трагическом повествовании?

1. Охарактеризуйте чувства рассказчика.

2. Какова ваша оценка исповеди уцелевшего солдата?

В произведениях Высоцкого как одна из самых важных звучит тема дружбы.

Каким должен быть друг? И кто никогда не может стать другом? Автор даёт очень точные ответы на эти конкретные вопросы.

Песня о друге

Если друг оказался вдруг
и не друг и не враг, а – так…
Если сразу не разберёшь,
плох он или хорош, —
парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его!
Пусть он в связке одной с тобой —
Там поймёшь, кто такой.

Если парень в горах – не ах,
Если сразу раскис и – вниз,
Шаг ступил на ледник и – сник,
Оступился – и в крик, —
Значит, рядом с тобой – чужой.
Ты его не брани – гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но – шёл,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но – держал:
Если шёл он с тобой как в бой,
На вершине стоял, хмельной —
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

Вопросы и задания

1. Почему это стихотворение можно назвать балладой?

2. Каким должен быть настоящий друг?

1. Что помогает оценить подлинную дружбу?

2. Как в стихотворении используется контраст?

1. Какие нравственные проблемы решает автор в песне о друге?

2. Найдите другие стихи поэта, которые содержат столь же чёткие нравственные требования к настоящему другу. Оцените с этой точки зрения «Песню о времени», созданную для фильма «Стрелы Робин Гуда».

Песня о времени

И во веки веков, и во все времена
Трус, предатель – всегда презираем.
Враг есть враг, и война всё равно есть война,
И темница тесна, и свобода одна —
И всегда на неё уповаем.

Время эти понятья не стёрло,
Нужно только поднять верхний пласт —
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.

Ныне, присно, во веки веков, старина, —
И цена есть цена, и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если другом надёжно прикрыта спина.

Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки, – из прошлого тащим, —
Потому что добро остаётся добром —
В прошлом, будущем и настоящем!

Вопросы и задания

1. Какие понятия включает автор в то, что называет добром? Злом? Сможете ли вы расширить перечни перечисленных автором понятий, связанных с добром и злом?

2. Какие понятия вы считаете главными, говоря о добре? Зле?

1. Какую роль в строках этого стихотворения играет упоминание о «сагах и сказках»?

2. В чём вы видите разницу между следующими строками стихотворения: «Во веки веков, во все времена», «Ныне, присно, во

веки веков», «В прошлом, будущем и настоящем!» Почему стихотворение так насыщено вариантами обозначения времени?

▶▶▶**1.** Какое свойство времени отмечает автор как самое главное?

2. Как ему удаётся утвердить неизменную прочность нравственных критериев для всех времён?

Творчество Высоцкого остаётся в памяти звучащей песней, остротой волнующих и сегодня проблем, страстным желанием их решить, высокой гражданской ответственностью. Даже песни, хранящие отзвук бесшабашных шлягеров московских окраин, стремятся утвердить моральные ценности, которые всегда приходится защищать. Высоцкий говорит об этом, находя новые и новые способы утверждения дорогих ему истин.

В его романтической лирике есть утверждение мужества, благородства духовного строя мыслей, пафос преодоления всего, что поэт не может принять. Он очень чётко формулирует своё представление о чести, мужестве, благородстве, и у него нет сомнения в том, что так будет всегда.

Итоговые вопросы и задания

▶**1.** Какие темы наиболее полно раскрыты в лирике Высоцкого?

2. Докажите исповедальный характер лирики Высоцкого.

▶▶**1.** Какие приёмы помогают свободному звучанию его стихов, их близости к устной речи с её диалогами и монологами?

2. Назовите излюбленные жанры поэта.

▶▶▶**1.** Определите причины связи между звучащим словом и музыкой в лирике Высоцкого.

2. Создайте краткий словарик жанров лирики Высоцкого.

3. Для дискоспектакля «Алиса в стране чудес» Высоцкий создал много песен: «Песня Кэрролла», «Песня Алисы»… Вспомните события этой сказки и составьте оглавление этих песен, точно следуя за сюжетом.

4. Создайте краткий обзор-монтаж песен Высоцкого на одну из ведущих тем его лирики.

Булат Шалвович Окуджава (1924–1997)

Мы романтики старой закалки…

Новелле Матвеевой

Мы романтики старой закалки
из минувшей и страшной поры.
Мы явились на свет из-под палки,
чтоб воспеть городские дворы.

Струн касались рукою привычной,
и метался меж нами, как зверь,
целомудренный ангел столичный,
одурев от любви и потерь.

Ну, а нынче, запутавшись между
давней страстью своей и виной,
расплатиться хотим за надежду
самой горькой дворовой ценой.

Так в стихотворении, обращённом к Новелле Матвеевой, Булат Окуджава оценивает и своё творчество, и творчество близких ему поэтов, создателей авторской песни. Трагическое ощущение жизни, поиски доброго начала, мягкое, лиричное осмысление происходящего связаны с впечатлениями детства и юности.

В годы сталинского террора был расстрелян отец, репрессирована мать. В 1942 году Окуджава добровольцем ушёл на фронт. После окончания в 1950 году Тбилисского университета работал в школе учителем. Разлука с отцом и матерью, семейная трагедия не давали покоя поэту, и он во многих стихотворениях в той или иной форме обращался к волновавшей его теме.

Письмо к маме

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне намордник, воля – за стеной.
Ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берёт —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Следователь юный машет кулаком.

Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть…
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой трехэтажный мат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берёт —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Чуть за Красноярском – твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нём жарок, да холоден взгляд…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берёт —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Всё ему подвластно, да опять не рад…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берёт —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Стихотворение написано уже в зрелом возрасте, и многое осмысливается уже по-новому. Поэт стремится понять, почему всё так произошло и с его семьёй, и со страной. Но что-то остаётся не совсем ясным.

Вопросы и задания

▸Почему каждая строфа завершается одними и теми же строками, относящимися и к простому солдату, и к следователю, и к конвоиру, и к «вождю народов»?

▸▸▸Попробуйте прокомментировать строки:

Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берёт —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Неужели Окуджава действительно призывает к прощению палачей? Может, в этих строках заложен какой-то иной смысл? Ведь в других стихотворениях нарисован поэтом почти гротескный образ Сталина.

Булат Шалвович начал печатать свои стихотворения с 1953 года. Многие из них посвящены войне, воспоминаниям о ней. В одном из таких стихов создан романтический образ московского мальчишки, по-рыцарски благородного, верного друга, ставшего воином и погибшего на полях сражений. В стихотворении соединяются две темы – военная и московская, столь любимая автором, что отчётливо проявляется во второй части и особенно в финале.

Король

Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Лёньку Королёва
и присвоили ему званье короля.
Был король, как король, всемогущ.
И если другу
станет худо и вообще не повезёт,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, – и спасёт.
Но однажды, когда «мессершмитты»,
как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку,
как корону —
набекрень, и пошёл на войну.
Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.
Но куда бы я ни шёл, пусть какая ни забота
(по делам или так погулять),
всё мне чудится, что вот
за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Лёньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы
не представляю

без такого, как он, короля.

Вопросы и задания

⏩Какова роль в этом стихотворении понятий «король», «царственная рука», «всемогущ», выражения «Король, как король»? Как они способствуют созданию образа юного героя?

⏩⏩**1.** Мы уже говорили о тяге поэта к романтике. Согласны ли вы с утверждением, что образ Лёньки Королёва романтический? Что делает его таковым?

2. Прокомментируйте смысл финала стихотворения.

Любимая тема в творчестве Окуджавы – Москва и люди Москвы. Поэту дороги московские улицы, особенно родной Арбат.

Песенка об Арбате

Ты течёшь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моё призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди невеликие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.
От любови твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моё отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

Вопросы

⏩Как можно понять слова автора, что Арбат – его «призвание», «религия», «отечество»?

⏩⏩Какими словами в стихотворении выражена любовь к родному уголку Москвы?

Евгений Александрович Евтушенко (Родился в 1932 году)

Евгений Александрович Евтушенко – человек разностороннего творческого дарования. Поэт, прозаик, критик, публицист, кинорежиссёр, литературовед.

Литературная деятельность началась в 50-е годы.

Лирический герой поэзии Евтушенко – «человек искренний, жадно всматривающийся в жизнь, пытающийся разобраться в ней и в себе, стремящийся однозначно определить собственную… сущность».

Людей неинтересных в мире нет…

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как история планет.
У каждой всё особое, своё,
и нет планет, похожих на неё.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самою незаметностью своей.

У каждого – свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это всё неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Всё это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит всё равно!

Таков закон безжалостной игры,
не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная всё, не знаем ничего.

Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать…

Вопросы и задание

⏩**1.** Какое значение имеет сравнение человека с миром («не люди умирают, а миры»)?

2. Отметьте средства художественной выразительности, используемые поэтом.

⏩⏩К чему призывает поэт в этом стихотворении? До каких тайников человеческого сердца он хочет достучаться?

Памяти Ахматовой. ***В сокращении***

Ахматова двувременной была.
О ней и плакать как-то не пристало.
Не верилось, когда она жила,
не верилось, когда её не стало.

Она ушла, как будто бы напев
уходит в глубь темнеющего сада.
Она ушла, как будто бы навек
вернулась в Петербург из Ленинграда.

Она связала эти времена
в туманно-теневое средоточье,
и если Пушкин – солнце, то она
в поэзии пребудет белой ночью.

Над смертью и бессмертьем, вне всего,
она лежала, как бы между прочим,
не в настоящем, а поверх него,
лежала между будущим и прошлым.

И прошлое у гроба тихо шло

не вереницей дам богоугодных.
Седые чёлки гордо и светло
мерцали из-под шляпок старомодных.

Да, изменило время их черты,
красавиц той, когдатошней России,
Но их глаза – лампады доброты —
ни круговерть, ни мгла не загасили.

Шло будущее, слабое в плечах.
Шли мальчики. Они себя сжигали
пожаром гимназическим в очах
и в кулаках тетрадочки сжимали.

И девочки в портфельчиках своих
несли, наверно, дневники и списки.
Всё те же – из блаженных и святых —
наивные российские курсистки.

И ты, распад всемирный, не убий
ту связь времён, – она ещё поможет.
Ведь просто быть не может двух Россий,
как быть и двух Ахматовых не может.
…….

Ахматова превыше всех осанн
покоилась презрительно и сухо,
осознавая свой духовный сан
над самозванством и плебейством духа…

Злорадство

Легко клеймить в чужой стране бесправье,
а в собственной стране попрать права.
Злорадинкой приправленная правда,
как будто кривда ржавая крива.

Легко и просто, возмущаясь кем-то,
увидеть, словно в зеркале кривом,
в чужом глазу соломинку ракеты,
когда в своём она торчит бревном.

Считать помойки чьи-то, ямы, лужи,

и чьим-то язвам радоваться – срам.
Кому-то хуже – всем на свете хуже,
и все микробы будут в гости к нам.

Любовь неразделённая сбежала,
и любит без любви – ей хоть бы хны!
Но нет неразделённого пожара,
неразделённой с кем-нибудь войны.

Как мерзко, если при землетрясении,
при геноциде или в недород
один народ без всяких угрызений
злорадствует, что мрёт другой народ.

Всегда злорадство – это антибратство,
и шар земной шатает вкривь и вкось,
когда уже глобальное злорадство
из мелкого злорадства разрослось.

А если яды в лёгкие нам влезли,
перед отравой общей мы равны.
Ничьей стране лекарством от болезней
не может быть болезнь другой страны.

Вопросы и задания

▸Какие из прочитанных стихотворений Евтушенко вам больше понравились и почему? Какие не понравились совсем?

▸▸Какие художественные приёмы, с вашей точки зрения, использованы поэтом удачно и способствуют усилению эмоционального воздействия на читателя, какие не достигают своей цели?

▸▸▸Какие социальные, нравственные, эстетические проблемы поднимаются в стихах Е. А. Евтушенко?

Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010)

Андрей Вознесенский – поэт, прозаик-эссеист, переводчик, художник. Окончил архитектурный институт. Вместе с Е. Евтушенко, Р. Рождественским, Б. Ахмадулиной вступил на поэтическое поприще в конце 50-х – начале 60-х годов.

В. Катаев так оценивал особенности поэзии Вознесенского: «Я вижу основное качество Вознесенского – раскованность, самое ценное, что может быть в поэте. Вознесенский прошёл замечательную школу современной русской, советской поэзии – смею сказать, лучшей в мире – и воспринял её не только как талантливый ученик, но и как прямой её продолжатель».

Неприятие всякой фальши, напыщенности, жажда выразить неподдельные переживания неотделимы в поэзии Вознесенского от ощущения его ответственности перед жизнью и людьми за судьбы поэтического слова.

Русские поэты

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несётся в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

Реквием

Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай —

в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имён, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,
на другом – на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы
над землёю сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полётом.
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколеньям пришедшим:
«Кто живой – возложите венки».

Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.

Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.

И на ложь возложите венки,
Мы в ней гибнем, товарищ, с тобою.
Возложите венки на Свободу.
Пусть живёт. Возложите венки.

Есть русская интеллигенция…

Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
поскольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пророков в своём отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моём отечестве,
Зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербуржской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —

Отечественная война.

Какое призвание лестное
Служить ей, отдавши честь:
«Есть русская интеллигенция!
Есть!»

Для всех – вне звёзд, вне митр, вне званий…

Для всех – вне звёзд, вне митр, вне званий —
Андреем Дмитриевичем был.
Мы потеряли Первозванного,
что совестью страну святил.
Он первым произнёс всё заново.
Тёзка крестителя Руси.
Как мало избранных меж званных…
Господи, страну спаси!

Вопросы и задания

Какой настрой вы почувствовали в стихотворениях Андрея Вознесенского?

К каким художественным средствам поэтического изображения прибегает Вознесенский, чтобы передать свои чувства и мысли?

1. Какое из прочитанных стихотворений произвело на вас наиболее сильное впечатление? Мотивируйте свои оценки.

2. Самостоятельно проанализируйте одно стихотворение Андрея Вознесенского. Сделайте по материалам данного анализа устное сообщение на уроке.

Литература народов России

Г. Тукай. М. Карим. К. Кулиев. Р. Гамзатов.

Габдулла Тукай (1886–1913)

Габдулла Тукай – народный поэт Татарстана. Он внёс большой вклад в татарскую реалистическую литературу и современный литературный татарский язык. Родился в семье приходского муллы в деревне Кишлауч Казанской губернии. Потеряв родителей уже в четыре года, Габдулла познал всю горечь сиротства. Он рано приобщился к тяжёлому крестьянскому труду. Благодаря помощи тётки по отцовской линии мальчику удалось получить образование в городе Уральске, где он посещал мусульманскую школу и русский класс. В годы учёбы он начал писать стихи. Во время первой русской революции Тукай выступает в журналах, издаваемых на русском и татарском языках, как поборник интересов и чаяний народа, как страстный певец свободы. Постоянный литературный труд не приносил поэту материального достатка: он влачил нищенское существование. В 1908 году совместно с Г. Камалом Тукай начал издавать первый в Казани сатирический журнал «Яшен» («Молния»), в котором выступал с фельетонами и сатирическими статьями, остро бичующими недостатки современного общества. В своих стихотворениях Тукай запечатлел образы тружеников, испытавших все тяготы царского гнёта. «Если хочешь волновать народную душу, – говорил он, – пусть будет полон напев твой горькой печалью». Стихотворения Тукая «На заводе», «Осенние ветры», «Гнёт», «Буран», «Чего не хватает сельскому люду?», «Казань», «Надежды народа» являются яркими образцами общественно-политической лирики.

Тукая не стало 15 апреля 1913 года. Он ушёл из жизни в полном расцвете своего литературного таланта.

Родная деревня (*Перевод В. Тушновой*)

Стоит деревня наша на горке некрутой.
Родник с водой студёной от нас подать рукой.
Мне всё вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я всё в краю моём.

Здесь Бог вдохнул мне душу, я свет увидел здесь,
Молитву из Корана впервые смог прочесть,
Впервые здесь услышал слова пророка я,

Судьбу его узнал я и путь тяжёлый весь.

Мне памятны навеки событья детских лет,
Нет времени счастливей, забав беспечней нет.
Я помню, как бывало, по чёрной борозде
Шагал со старшим братом я за сохою вслед.

Я многое увижу – ведь жизнь ещё длинна,
И ждёт меня, наверно, дорога не одна.
Но только, где б я ни был и что б ни делал я,
Ты в памяти и сердце, родная сторона!

Вопросы и задания

1. В каких словах стихотворения передаётся любовь поэта к родной деревне? Почему в описании родной стороны поэт использует слова высокого стиля – *душа, сердце, Бог, пророк, путь, судьба, жизнь?*

2. Почему, изображая родную деревню, художник слова воссоздаёт картины прошедшего («Запомнились навеки события детских лет»), настоящего («Стоит моя деревня…») и будущего («Я многое увижу…»)?

Книга
(*Перевод М. Петровых*)

Когда душа измучится в борьбе,
Когда я ненавистен сам себе,
Когда я места в мире не найду
И, утомясь, проклятье шлю судьбе;

Когда за горем – горе у дверей
И ясный день ненастной тьмы темней;
Когда в печали белый свет не мил,
Когда не станет сил в душе моей, —
Тогда я в книгу устремляю взгляд,
Нетленные страницы шелестят.
Я исцелён, я счастлив, я живу,
Я пью тебя, отрада из отрад.

И слово, мной прочтённое, тогда
Встаёт как путеводная звезда,

Бесстрашно сердце, радостна душа,
И суета вседневная чужда.

И, вновь рождённый чистою мечтой,
«Спасибо» говорю я книге той.
И, распрямлённый верою в себя,
Я вдаль гляжу с надеждою святой.

Вопросы и задания

1. Стихотворение «Книга» распадается на две части. Первую его часть (десять стихов) составляет сложное предложение с повторяющимся союзным словом *когда,* которое логически предполагает в конце развёрнутого предложения использование наречия *тогда,* завершающего высказывание. Вторая часть стихотворения, как и первая, тоже состоит из десяти стихов, но включает в свой состав большее количество предложений. В чём вы видите пафос первой части стихотворения. Каков лейтмотив второй части стихотворения?

2. Сопоставьте лексику первой и второй частей «Книги». Чем можно объяснить различие в лексике этих частей стихотворения?

3. Каким отношением к книге пронизано стихотворение? Какую характеристику в стихотворении получают лексические единицы «слово», «книга», «страницы»?

4. Какое значение имеют повторы в каждой из частей стихотворения «Книга»?

5. Что общего в расположении рифм в стихотворениях «Родная деревня» и «Книга»?

Мустай Карим (1919–2005)

Мустай Карим (Каримов Мустафа Сафич) – башкирский поэт, писатель и драматург. Начал литературную деятельность в 1935 году и уже в 1940 году был принят в члены Союза писателей СССР. В 1941 году закончил факультет русского языка и литературы Государственного педагогического института имени К. А. Тимирязева. За день до выпускного вечера Карим получил сигнальный экземпляр книги стихов «Весенние голоса», а на следующий день началась Великая Отечественная война. По окончании Муромского училища связи младший лейтенант Карим был направлен в 17-ю мотострелковую дивизию на должность начальника связи артиллерийского дивизиона. В августе 1942 года под Мценском Карим был тяжело ранен и по излечении работал корреспондентом фронтовых газет. За годы войны он опубликовал книгу стихотворений «Мой конь», поэмы «Декабрьская песня» и «Ульмесбай» («Бессмертие»). Кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды Карим закончил войну в столице Австрии – Вене. Послевоенная лирика поэта пронизана высоким накалом чувств, глубиной философских размышлений о жизни. «Моё основное моральное кредо таково: всегда жить на миру». Этому правилу Карим следовал всю свою жизнь. Открытостью, спокойной мудростью, глубокой искренностью в отношении к миру и человеку проникнута не только его лирика, но и проза. Целый ряд его повестей адресован детям и юношеству: «Радость нашего дома», «Треножник», «Таганок». Широкую известность получила и автобиографическая повесть «Долгое-долгое детство» (1976), в которой нашла художественное отражение картина жизни целого поколения людей. Заметный вклад внёс Карим и в драматургию. Его пьесы «Неспетая песня», «В ночь лунного затмения», «Салават. Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай огонь, Прометей!» входят в репертуар многих театров России.

Творческая и общественная деятельность Карима, лауреата государственных премий, связала его тесными узами дружбы с русскими писателями, художниками, композиторами, режиссёрами. Его стихи переводили М. Светлов, А. Недогонов, В. Тушнова, М. Дудин, И. Снегова, Л. Татьяничева и другие.

Бессмертие (*Перевод Ю. Кушака*)

Первая охота

Начинаю с уговора:
Кто не хочет – не читай!
Но не лезь потом с укором —
Дескать, ври, да меру знай!

Вот он сам – сидит не тужит,
У костра портянки сушит
Храбрый сын Урал-батыра
Знаменитый Ульмесбай.

Он сидит среди бойцов —
Старожилов и юнцов,
Греется, пошучивает,
Редкий ус покручивает.

А в сторонке под рябиной,
Крепко связан, рыжий, длинный,
Фриц лежит, как заяц бьётся,
А в глазах – и страх, и злость.
– Не брыкайся, не елозь!
Как подвешу на портянке,
Посреди лесной полянки,
Успокоишься небось!
Смех шрапнелью раскатился:
– Где ты «зайцем» разживился?
– Ну, рассказывай давай!

Усмехнулся Ульсембай.

Тут упрашивать не надо
И не надо торопить —
Был бы повод для солдата
Да охота говорить.

Он хитро поглядывает —
Так и так – докладывает:

– Я охотник, дед, и прадед,
И отец, и вся родня.
Оттого, хоть на ночь глядя,

Так и тянет в лес меня.

Хоть в какую непогоду
Отыщу звериный след.
Дай-ка в рощу на охоту
Отлучусь, терпенья нет!

Ну, для собственной отваги
Отхлебнул глоток из фляги,
Просветлела голова,
Две «лимонки» – в рукава.

Ночь, луна, как по заказу,
Звёзды будто светляки:
На любого зверя сразу
Ставь капканы да силки.

Ветки голые – что кости,
В ёлках лешие видны.
Тут идёшь не то что в гости
Или к тёще на блины.

Что ни шаг – кругом подвох.
Тут мне в спину: «Хенде хох!»

Я, конечно: «Битте-дритте»,
Руки вверх, башкой верчу —
Мол, чего теперь? Берите!
И «Хайль Гитлер!» им кричу.

И фашист – ладонь вперёд:
«Хайль!» – как бешеный, орёт.

Ну, «похаяли» мы вместе,
Тут вся свора – из кустов.
Обыскали честь по чести,
Правда, кроме рукавов.
И с вопросом: «Кто таков?»

Дышат вонью, хуже смерти,
Тычут в грудь для куражу.
И я брякнул:
– Тише, черти!
В штаб ведите, всё скажу.

Недосуг точить мне лясы,
Отвечать на «вас ист дасы»!

Ну, приводят. Здрасьте – здрасьте.
Офицер – что твой верблюд:
Мослоногий, рыжей масти,
Глазки злобою плюют.

– Отвещать! Ты есть разведчик?!
Где твой часть?!! —
А я в ответ:
– Мол, при всех такие вещи
Говорить не стану, нет!

Что-то хрюкнул он такое:
Все – за дверь. Теперь как раз
Нас в землянке оба-двое,
К носу нос и глаз на глаз.

– Кто я есть? Я сын солдата.
А явился в этот мир
Я из рода Салавата,
То есть попросту – башкир.

Он сопит, развесил уши,
Озирается на дверь:
– Салават… Башка… Послюшай,
Это… то есть что за зверь?!

– Тот, который с братом русским
Вас бивал, и не впервой,
Как на озере на Чудском,
Так и нынче под Москвой!
Стой, ни с места! А иначе
Сам поймёшь наверняка,
Что «башкир» на деле значит
Для тебя – «секир башка»!

– Ты шутник! – кричит. – Примолькни!
Я тебя… за этих слофф…

Тут для верности «лимонки»
Вытряс я из рукавов.

– Ты наганом зря не хвастай,
Положи на край стола.
Разожму ладонь – и баста!
Оба – уголь да зола!
А шутить мы будем после,
Да попляшем – день придёт,
Когда Гитлеровы кости
В поле ворон доклюёт.

И ему «лимонку» в нос:
Нет вопросов? Есть вопрос.
Мой верблюд дрожит, как заяц:
– Что ты хочешь?.. Говори…

– В гости к нам пойдём, красавец,
Да не балуйся смотри.
В нашей песенке поётся,
И тебе пора узнать:
Хоть оглобля разойдётся —
Ей коня не обогнать!
Посидеть бы нам рядком,
Попивать чаёк с медком,
Байки баять до утра —
Да не та теперь пора!
Возвращаться надо срочно.
Будешь жить – уж это точно,
Да меня благодарить.

Ох, скажу вам, было тошно
Из землянки выходить!
Часовые вдоль дороги
Да разъезды, как на грех.
Он шагает – руки в боки,
Я шагаю – руки вверх.

Все посты – по стойке «смирно»,
Да ему не в интерес.
Так мы, в общем, тихо-мирно
И пришли в ничейный лес.

…Рассказал вам без утайки
Всё как было, ей-же-ей!
Вот – промок, сушу портянки.

Вот на травке – мой трофей.

А не то откуда взяться
Немцу этому в лесу?
Так что вот – сходил на зайца.
Собираюсь – на лису.

Вопросы и задания

1. Главным действующим лицом поэмы Карима является Ульмесбай. В его имени соединились два значения: по-татарски *ульмес* означает «не умрёт», а *бай* – «человек». Так что имя героя имеет значение «бессмертный». Ульмесбай в поэме является рассказчиком-повествователем. Содержание поэмы составили три истории, рассказанные главным героем: «Первая охота», «Свадьба», «На рыбалке». Заголовки этих историй полны иносказательного значения, поскольку они рисуют не мирную жизнь, а военные будни: сцены захвата немцев в плен или уничтожения врага.

Прочитайте главу «Первая охота». Объясните смысл её заглавия. Как вы понимаете первые четыре стиха главы и как они готовят читателя к восприятию события, воссозданного в «Первой охоте»?

2. Какими чертами характера наделён Ульмесбай в главе «Первая охота»? Какие черты характера сближают его с Василием Тёркиным, который в поэме Твардовского предстаёт как человек «простой закваски», как «святой и грешный русский чудо-человек»?

Большая часть главы «Первая охота» является монологом Ульмесбая. Какие меткие слова и выражения, присловья, поговорки, точные сравнения, характерные для разговорной речи, использует Ульмесбай в своём рассказе о пленении фрица? В какой мере стихия народной речи «Первой охоты» напоминает вам языковую стихию поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» со свойственной ей экспрессией разговорной речи, включением в неё армейского фольклора, присловий, эмоциональных эпитетов, ходячих речений?

Как в «Первой охоте» выражена мысль о братских отношениях русского и татарского народов?

Кайсын Кулиев (1917–1985)

Кайсын Шуваевич Кулиев – балкарский поэт. Он родился в Кабардино-Балкарии, в высокогорном ауле Верхний Чегем в семье охотника и скотовода. Стихи начал писать ещё на школьной скамье. Высшее образование получил в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС), но своим истинным призванием считал литературу. В стихотворениях конца 1930-х годов воспел красоту жизни и природы, создал проникнутые глубоким лиризмом стихи о простых людях, тружениках своего дела. В 1940 году Кайсын Кулиев уходит в армию. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в боях за освобождение Москвы, Орла, Ростова, Украины, Крыма. В стихотворениях военных лет Кайсын Кулиев воспел мужество и героизм сражающегося народа. Его стихи в русских переводах печатались в центральных и фронтовых изданиях и обеспечили поэту широкую известность. Незаконная депортация балкарского народа в Среднюю Азию заставила поэта в 1944 году уехать в Киргизию и разделить ссылку вместе со своим народом. Только в 1956 году он возвращается в Кабардино-Балкарию. В 50-е годы поэт издаёт целый ряд поэтических сборников – «Горы», «Хлеб и роза», «Я пришёл с гор», – в которых воспеваются любовь к родной земле, любовь к народу, пережившему разлуку с Родиной. Последующие годы отмечены подлинным расцветом его творчества, проникнутого высокой идеей доброты и человечности. Такие книги поэта, как «Огонь на горе», «Раненый камень», «Звёздам гореть», «Книга земли» и другие, стали заметным событием в литературной жизни страны.

«Когда на меня навалилась беда…» (*Перевод Н. Гребнёва*)

Когда на меня навалилась беда
И шёл я по отчему краю,
«Отдай свою боль мне», – сказала вода,
По горному склону стекая.

Сказала мне высь: «Обернись к небесам,
И в сердце растает тревога».
«Спокойно иди, я тебя не предам!» —
Тихонько шуршала дорога.

«Взгляни на мои голубые снега», —
Чуть слышно гора мне шептала.
«Приляг на траву», – поманили луга.
Прилёг я, и легче мне стало.

И стало всё просто, и понял я вдруг —
Иного не надо мне рая,
А только б дорога, да речка, да луг,
Да небо родимого края.

Вопросы и задания

Каким изображён «отчий край», «родимый край» в стихотворении балкарского поэта?

1. Какими переживаниями делится с читателем лирический герой стихотворения? Какие метафоры, широко распространённые в разговорной речи, использует поэт, рисуя посетившие его чувства?

2. Какую роль в художественном тексте выполняет прямая речь? Как подчёркнута в стихотворении слитность мира человека и мира природы?

3. Как соотносятся основная часть стихотворения с его короткой заключительной частью? Какую роль в концовке стихотворения играет повторение союза «да»?

«Каким бы малым ни был мой народ…» (*Перевод Н. Гребнёва*)

Каким бы малым ни был мой народ,
Он всё равно меня переживёт,
И будет жив мой край, гнездо в котором
И белый голубь вьёт, и чёрный ворон.

Я верую, что будет жить, как жил,
Мой малый род, чьё мужество, бывало,
И мужество и силу возвращало
Мне, потерявшему остаток сил.
<…>

И пусть потом иные песни сложат,
Но всё же люди, прошлое ценя,

Те песни тоже будут петь, быть может,
Что пели и при мне, и до меня.

И что с тобой, народ мой, ни случится,
Я знаю, будет жив язык родной,
В звучании которого продлится
Моя судьба и век недлинный мой.
< … >

Вопросы и задания

1. Что утверждает Кайсын Кулиев своим стихотворением?

2. В каких словах стихотворения особенно сильно подчёркнуто единство поэта со своим народом?

1. Почему в начале первой строфы стихотворения и в начале последней его строфы поэт использует усилительную частицу «ни» в сочетании с относительными местоимениями? Чего добивается поэт, используя подобную синтаксическую конструкцию?

2. Почему в стихотворении так часто используются глаголы будущего времени?

3. В инструментовке стихотворения большая роль принадлежит рифме. Почему, на ваш взгляд, поэт использует разные сочетания рифм по их положению в стихе?

Расул Гамзатов (1923–2003)

Знаменитый аварский поэт, народный поэт Дагестана, Расул Гамзатович Гамзатов родился в семье народного поэта Гамзата Цадасы. Но «моё настоящее рождение, – подчёркивал поэт, – связано с рождением моих стихов. С песни начинается моя жизнь и до конца принадлежит ей». Писать стихи Гамзатов начал с девяти лет, публиковаться – с четырнадцати лет, а в двадцать лет он стал членом Союза писателей СССР. Он автор многих поэтических сборников, наиболее известными из которых являются «В горах моё сердце», «Высокие звёзды», «Берегите друзей», «Журавли», «И звезда с звездою говорит», «В полдневный жар», «Чётки лет», «Таинственность», «Суди меня по кодексу любви» и другие. Лирический герой Гамзатова – человек огромной душевной чистоты и силы: «…борению мыслей и столкновению чувств нет конца». Книги поэта содержат глубокие размышления о жизни, смерти, о разлуках и встречах, о человеке, о друзьях:

Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много;
Опасайтесь потерять друзей.

Стихотворения Гамзатова художественно выразительны и подлинно музыкальны. Многие из них были положены на музыку такими композиторами, как Д. Кабалевский, А. Пахмутова, Р. Паулс, Я. Френкель, М. Кажлаев. А исполняли его песни Г. Вишневская, А. Герман, М. Бернес, М. Магомаев, В. Кикабидзе и другие певцы.

Поэт был отмечен целым рядом отечественных и зарубежных наград. В связи с 80-летием Расул Гамзатов был награждён высшей наградой России – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Мой Дагестан (*Перевод Н. Гребнёва*)

Когда я, объездивший множество стран,
Усталый, с дороги домой воротился,

Склонясь надо мною, спросил Дагестан:
«Не край ли далёкий тебе полюбился?»

На гору взошёл я и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану ответил:
«Немало краёв повидал я, но ты
По-прежнему самый любимый на свете.

Я, может, в любви тебе редко клянусь,
Не ново любить, но и клясться не ново,
Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблёкнет стократ повторённое слово.

И если тебе всякий сын этих мест,
Крича, как глашатай, в любви будет клясться,
То каменным скалам твоим надоест
И слушать, и эхом вдали отзываться.

Когда утопал ты в слезах и крови,
Твои сыновья, говорившие мало,
Шли на смерть, и клятвой в сыновней любви
Звучала жестокая песня кинжала.

И после, когда затихали бои,
Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей
Клялись молчаливые дети твои
Стучащей киркой и косою звенящей.

Веками учил ты и всех и меня
Трудиться и жить не шумливо, но смело,
Учил ты, что слово дороже коня,
А горцы коней не седлают без дела.

И всё же, вернувшись к тебе из чужих,
Далёких столиц, и болтливых и лживых,
Мне трудно молчать, слыша голос твоих
Поющих потоков и гор горделивых».

Вопросы и задания

1. Каким предстаёт Дагестан в стихотворении Гамзатова?
2. Какими показаны в стихотворении сыновья Дагестана?

Что ценит поэт в людях Дагестана?

⏩Какую мысль утверждает поэт в монологе, обращённом к Дагестану? Подберите из текста синонимы к слову «молчать», которые соединяются с истинной, «настоящей» любовью к родному краю. Как вы понимаете строку «Поблёкнет стократ повторённое слово»? Какой, по мнению поэта, должна быть любовь к родине?

⏩⏩Какая тема объединяет вступительное и заключительное четверостишия стихотворения?

«В горах джигиты ссорились, бывало…» (*Перевод Н. Гребнёва*)

В горах джигиты ссорились, бывало,
Но женщина спешила к ним и вдруг
Платок мужчинам под ноги бросала,
И падало оружие из рук.

О женщины, пока в смертельной злости
Не подняли мечей материки,
Мужчинам под ноги скорее бросьте
Свои в слезах намокшие платки.

Вопросы и задания

▶Одна из поэтических книг Гамзатова носит название «Письмена». В эту книгу поэт включил свыше двухсот «Восьмистиший» («Восьмистишие – восемь строк…»), а также «Четверостишия» и «Надписи». Стихотворения, включённые в «Письмена», насыщены глубоким философским смыслом. Каждое слово в них имеет большую смысловую нагрузку – «А слово и весомей и дороже!».

Какую мысль стремится донести до читателя поэт в восьмистишии «В горах джигиты ссорились, бывало…»?

⏩**1.** Как соотносятся в стихотворении пространственные детали: «в горах» – «материки»? Какие ключевые слова объединяют первое и второе четверостишия?

2. Какую роль в стихотворении играет образ-символ?

И. В. Гёте.

Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1842)

Иоганн Вольфганг Гёте – один из величайших немецких писателей. Он начал своё творчество с участия в группе молодых писателей «Буря и натиск», отличавшихся смелостью и бескомпромиссностью взглядов, а завершил признанным всем миром классиком, чей труд – драматическая поэма «Фауст» – занял у него шестьдесят лет жизни.

Каждый из этапов его творчества вызывал отклик в самых широких кругах, связанных с искусством. Его пьесы ставились на сценах, его увлечение Шекспиром помогло европейцам оценить великого драматурга, его роман «Страдания молодого Вертера» вызвал волну самоубийств молодых романтиков.

Яркий участник событий и свершений своего века, он активно утверждал своё творчество. Так, когда Бетховен создал музыку к его исторической трагедии «Эгмонт», то спор между двумя

авторами вызвал их разрыв. О чём же спорили великие? О том, чей «Эгмонт» лучше!

Сейчас читатели и зрители знают поэму «Фауст» и оперу «Фауст», музыку к которой написал Ш. Гуно.

Многие авторы обращались к средневековому сюжету о чернокнижнике докторе Фаусте, продавшем душу дьяволу. Об этом герое писали К. Марло, Г. Э. Лессинг.

Итак, герой романтической поэмы Гёте престарелый доктор Фауст освоил всё, что могла дать ему современная наука. «Я богословьем овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всём был и остался дураком». Но он не только критичен к себе. Он, как утверждает его соблазнитель Мефистофель, «и рвётся в бой, и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звёзд в награду и лучших наслаждений у земли». Он и решителен и требователен.

Но вот сделка с силами зла заключена. Мефистофель обещает ему исполнение всех желаний, которые он берётся исполнять до того момента, когда Фауст решит, что полнота жизни им достигнута, когда он сможет сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Итак, Фаусту возвращена молодость. Но с нею возвращаются легкомыслие и беспечность. Он влюбляется в юную Маргариту (по-немецки уменьшительное имя – Гретхен – ей четырнадцать лет). У них рождается ребёнок. Смерть ребёнка, безумие, а затем и гибель Маргариты завершают первую часть поэмы. Именно эта часть послужила основой сюжета большинства опер, балетов и других музыкальных произведений, созданных по мотивам поэмы «Фауст».

Вторая часть романтической поэмы «Фауст» более сложна. Это аллегорическая часть поэмы. Её сюжетом служат дальнейшие странствия Фауста и Мефистофеля.

Они живут при дворе у императора, затем ученик Фауста Вагнер создаёт искусственного человека – Гомункулюса, Фауст влюбляется в дух прекрасной Елены и их близость приносит сына Фауста и Елены – Эвфориона. Это существо близко по духу высоко ценимому Гёте Байрону. Последнее дело, которое пытается осуществить Фауст, – создание плотины, которая нужна людям. Именно в тот момент, когда ослепший Фауст слышит лязг лопат, копающих для него могилу, он, думая, что свершилось дело строительства плотины, произносит слова, которых так давно ждал от него Мефистофель: просит остановить мгновенье. Мефистофель готов овладеть его душой, но ангелы спасают душу Фауста и в загробном мире ему предстоит соединиться с душой

Маргариты-Гретхен.

Если в начале трагедии Фауст размышляет о смысле бытия и о предназначении человека, то в финале ему предложен ответ: смысл жизни – в труде, который совершается ради всех остальных людей.

В прологе он размышляет о том, что важно и даже всего важнее: слово, мысль или дело. В финале найден точный ответ: «Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, / Жизнь и свободу заслужил». Однако при чтении этих строк стоит всмотреться в того, кто их произносит, и подумать о том, на каком этапе земного странствия герой поэмы смог произнести эти слова.

Перечитайте монолог и дайте свой комментарий этим словам, учитывая место монолога в поэме.

Стоит подумать и о том, почему только первая часть поэмы пользовалась такой популярностью и нашла такое широкое воплощение в других искусствах, а о второй части этого сказать нельзя.

Анализ знаменитого монолога даёт возможность оценить как масштаб притязаний человека, так и ограниченность его возможностей. Преодолевший свои увлечения романтик нашёл философски точный ответ.

Фауст. *Фрагмент*

Большой двор перед дворцом
Факелы.
Впереди Мефистофель в качестве смотрителя работ.

Мефистофель

Эй, эй, сюда, сюда скорей,
Сюда, народ понурый,
Из жил, и связок, и костей
Скроённые лемуры!
<…>

Фауст
(*выходит ощупью из дворца, хватаясь за дверные косяки*)

Как мне приятен этот стук лопат!
Рабочие, их разобрав, толпою
Кладут границу бешенству прибоя
И, как бы землю примирив с собою,
Возводят вал и насыпи крепят.

Мефистофель
(*в сторону*)

На мельницу мою ты воду льёшь.
Плотиной думая сковать буруны,
Морскому чёрту, старику Нептуну,
Заранее готовишь ты кутёж.
В союзе с нами против вас стихии,
И ты узнаешь силы роковые,
И в разрушенье сам, как все, придёшь.

Фауст

Надсмотрщик!

Мефистофель

Здесь!

Фауст

Усилий не жалей!
Задатками и всевозможной льготой
Вербуй сюда работников без счёту
И доноси мне каждый день с работы,
Как подвигается рытье траншей.

Мефистофель
(*вполголоса*)

На этот раз, насколько разумею,
Тебе могилу роют, – не траншею.

Фауст

Болото тянется вдоль гор,
Губя работы наши вчуже.
Но чтоб очистить весь простор,
Я воду отведу из лужи.

Мильоны я стяну сюда
На девственную землю нашу.
Я жизнь их не обезопашу,
Но благодатностью труда
И вольной волею украшу.
Стада и люди, нивы, сёла
Раскинутся на целине,
К которой дедов труд тяжёлый
Подвёл высокий вал извне.
Внутри по-райски заживётся.
Пусть точит вал морской прилив,
Народ, умеющий бороться,
Всегда заделает прорыв.
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.
Фауст падает навзничь. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.

Мефистофель

В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простёрт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят.

Хор

Стоят. Молчат, как ночь.
Упала стрелка. Делу не помочь.

Вопросы и задания

▶**1.** К чему привели Фауста его многолетние поиски? Какое решение он принял, стремясь помочь людям?

2. Каким предстаёт Фауст в финале трагедии? Что даёт ослепшему Фаусту уверенность в удаче своих свершений?

3. Какова позиция автора, который создал такой финал собственного многолетнего труда? Напомним, что работа над этим произведением растянулась на 60 лет.

▶▶**1.** Что отличает манеру повествования в репликах Фауста и Мефистофеля?

2. Какие художественные приёмы помогают передать пафос творческого восторга Фауста и злобную иронию близкого к своей победе Мефистофеля?

▶▶▶**1.** В чём вы видите пафос неутомимых поисков Фауста?

Найдите слова, которые бы лаконично передавали суть его устремлений.

2. Как вы оцениваете трагический финал усилий Фауста? Это – успех или поражение?

Подведём итоги

Курс литературы помог вам стать читателями, вы научились выбирать и оценивать книгу.

Чтение художественного произведения всегда ставит нас перед самыми различными вопросами. Вы, прочитав текст, наверняка не раз размышляли о том, что сказал вам автор. Завершая курс литературы 9 класса, подумайте над вопросами, которые предлагают вам авторы учебника-хрестоматии.

Вопросы и задания

▸**1.** И. В. Гёте считал лучшим читателем того, кто «судит, наслаждаясь текстом, и наслаждается, рассуждая». Ваше мнение? Какой вы читатель?

2. Какие роды литературы и жанры произведений преобладают в вашем чтении? Чем вы объясняете свой выбор?

3. Какие эпические произведения вы читали? Можно ли, отвечая на этот вопрос, говорить прежде всего о прозаических произведениях? Что объясняет ваш выбор?

▸▸**1.** Объясните, почему «Евгений Онегин» назван «романом в стихах», и как вы понимаете слова Пушкина о том, что между романом и романом в стихах – «дьявольская разница».

2. Как вы думаете, почему Гоголь назвал «Мёртвые души» поэмой? Почему он в своих письмах иногда называл те же «Мёртвые души» романом?

3. Какие признаки лирического произведения вы считаете самыми характерными, важными для него?

4. Какой признак лирического стихотворения кажется вам наиболее существенным: ритм, рифма, стихотворный размер? Может быть, вы назовёте какие-то другие признаки?

5. Перед вами строки стихотворений пяти размеров русского силлабо-тонического стиха. Определите размер каждой из этих

строчек:

У лукоморья дуб зелёный…

Сквозь волнистые туманы…

Славная осень! Здоровый, ядрёный…

Однажды в студёную зимнюю пору…

Меж высоких хлебов затерялося…

6. К какому из родов литературы отнесёте вы рекламный плакат Маяковского: «Нигде кроме как в Моссельпроме» или «Беги со всех ног покупать „Огонёк“»? Нужно ли и эти краткие рекламные стихи записывать «лесенкой»? Маяковский это делал.

В чём особенность записи стихов «лесенкой»?

7. Как связаны между собой такие части драматического произведения, как акт, действие, явление, сцена, картина?

8. Внимательно прочитайте фрагменты из «Мёртвых душ» Гоголя: «Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями»; «Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке».

В. Катаев утверждает, что это метафоры. Прав ли он?

9. Чехов сказал, что его поразило в одном ученическом сочинении определение моря: «Море было большое». В. Катаев стремится поддержать Чехова и пишет: «И правда, вот вы увидели море: первое, что вам приходит в голову, это то, что оно большое, огромное». Согласны ли вы с мнением этих писателей или вы по-иному восприняли море при первой встрече?

10. Прочтите описание пейзажа: «А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое – на льва, третье – на ножницы». Это текст Чехова. Какие художественные приёмы использованы в описании?

▶▶▶. 1. Дайте своё определение термину «классическая литература».

2. Составьте список 10 шедевров – лучших классических произведений художественной литературы.

3. Определите задачи художественной литературы в культурной жизни страны.

Рекомендуемые интернет-ресурсы

Вам не всегда удаётся выполнить то или иное задание под руководством учителя. Иногда при подготовке к урокам у вас возникают вопросы, а дома не оказывается нужной книги, нет никого, кто бы мог вам помочь. Теперь у вас есть помощник. Это **интернет**. Именно в интернете за несколько минут можно найти необходимую информацию о писателе и его творчестве, о книге. Можно даже прочитать само художественное произведение, найти нужный эпизод, посмотреть иллюстрации художников.

Предлагаем адреса нескольких сайтов.

1. *http://school-collection.edu.ru* – Образовательные интернет-ресурсы: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Коллекция включает в себя цифровые образовательные ресурсы по каждому предмету и в каждой параллели обучения, в том числе по литературе и русскому языку, а также тематические коллекции. Предназначена для поддержки учебной деятельности школьников.

2. *http://feb-web.ru*

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) – полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное содержание ФЭБ представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из которых посвящено отдельному автору (Пушкин, Лермонтов…), жанру (былины, песни…) или произведению («Слово о полку Игореве»…).

Фундаментальная электронная библиотека содержит ссылки на другие электронные библиотеки русской литературы и на

сетевые проекты, посвящённые русской филологии и фольклору, включая ссылки на информационные ресурсы ФЭБ.

3. *http://lib.ru* – *Lib.Ru*

На сайте вы познакомитесь с интернет-библиотекой Максима Мошкова. Это одна из самых полных и поэтому самых известных интернет-библиотек. Она открывает доступ к произведениям художественной литературы, к книгам по исторической, научно-познавательной и другим темам.

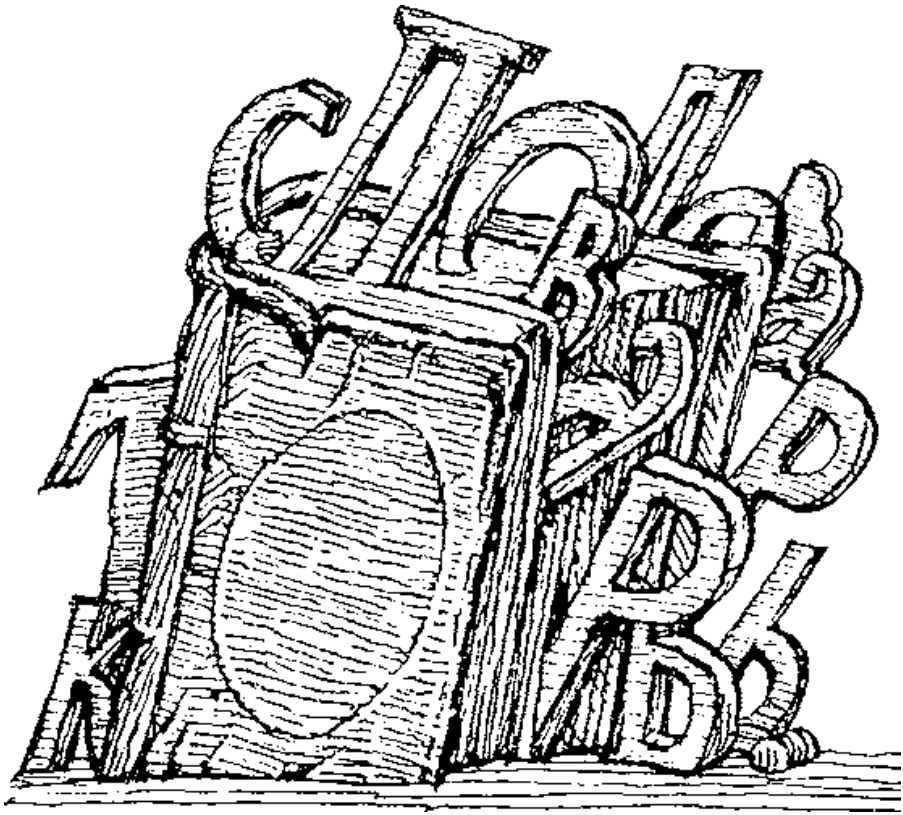
4. *http://rvb.ru*

На сайте представлена русская вирутальная библиотека. В этой интернет-библиотеке размещены классические и современные произведения русской литературы. Пользователи получают доступ к научно выверенным текстам, снабжённым профессионально подготовленным справочным аппаратом и комментарием.

5. *http://www.gramota.ru/* – Русский язык для всех. Портал Грамота.ру

Справочно-информационный портал: словари, учебные материалы для поддержки грамотности, научно-популярные статьи о русском языке и культуре речи.

Краткий словарь литературоведческих терминов



Автобиогра́фия (от греческих – *я, жизнь, пишу)* – описание своей жизни.

Аллего́рия (от греческих – *иной, говорю)* – иносказание. Троп, где конкретное изображение человека, предмета или явления скрывает абстрактное понятие или мысль.

Анекдо́т (от греческого – *неизданный)* – жанр фольклора, короткий устный рассказ с остроумной концовкой.

Афи́ша – список действующих лиц и исполнителей в пьесе.

Афори́зм (от греческого – *определение)* – краткое изречение, выражающее глубокую мысль. Афоризм отличается от пословиц и поговорок тем, что имеет автора.

Ба́сня – эпический жанр, небольшое повествовательное произведение в стихах, реже в прозе. События и герои в басне изображаются иносказательно. В басне есть *мораль* – вывод, к которому автор старательно направляет внимание читателя.

Иногда мораль не высказана, она только предполагается – и тогда читатель сам догадывается, что хотел сказать автор.

Вы́мысел худо́жественный – одна из важнейших особенностей художественного творчества, связанная со способностью писателя представить, вообразить то, что могло бы быть в действительности.

Гипе́рбола (от греческого – *преувеличение*) – троп, художественное преувеличение, суть которого заключается в усилении художественного впечатления.

Де́йствие, акт или **сце́на** – законченные части драматического произведения (пьесы) или спектакля.

Диало́г (от греческого – *беседа*) – разговор двух лиц. В художественном произведении в диалоге раскрываются характеры и происходящие события.

Дра́ма (от греческого – *действие*) – род литературы. Обычно драмой, драматическим произведением называют литературное произведение, предназначенное для сценического воплощения. Драматические произведения бывают различных жанров: *драма, комедия, трагедия, водевиль* и др.

Жанр (от французского – *род, вид*). Жанры бывают эпические, лирические и драматические.

К *эпическим* жанрам относятся эпопея, былина, сказка, поэма, баллада, повесть, рассказ, роман, басня, очерк.

К *лирическим* жанрам относятся песня, стихотворение, эпиграмма и др.

К *драматическим* жанрам относятся комедия, драма, водевиль, драматические сцены и др.

Завя́зка – элемент сюжета, начальный момент в развитии событий, изображённых в художественном произведении.

Зага́дка – жанр фольклора. Представляет собой вопрос или задание, которое требует решения, разгадки. Часто используется в сказках для проверки смекалки героев.

За́мысел – начало творческого процесса, самый первый этап в создании будущего произведения.

Зачи́н (запев) – начало в произведениях устного народного творчества, часто постоянная формула.

Звукоподража́ние – художественный приём, при котором создается ощущение реального мира (шум деревьев, плеск волны и т. д.). Такой эффект достигается определённым подбором звуков в словах.

Иде́я (от греческого – *понятие, представление*) – главная мысль произведения.

Инсцениро́вка (от латинского – *на сцене*) – переработка литературного произведения для сцены.

Интерье́р (от французского – *внутренний*) – художественное описание внутреннего убранства помещения.

Интона́ция (от латинского – *громко произносить*) – основное выразительное свойство звучащей речи, манера говорить. Интонация бывает вопросительная, восклицательная, повествовательная, ироническая, торжественная, гневная и т. д.

Ирóния (от греческого – *скрытая насмешка*) – скрытая насмешка, замаскированное осмеяние. Часто употребление слова в противоположном значении.

Иску́сство – отражение окружающей нас жизни в художественных образах.

Кла́ссика (от латинского – *образцовый*) – литературные произведения писателей и поэтов, признанные лучшими в мировой литературе.

Коме́дия (от греческих – *весёлая толпа, песнь*) – драматический жанр, изображающий такие события и характеры, которые вызывают смех.

Коми́ческое (от греческого – *смешное*) – то, что вызывает смех в жизни и в искусстве.

Комента́рий (от латинского – *объяснение*) – толкование, разъяснение смысла какого-либо произведения, отдельных фраз, цитат и т. п.

Компози́ция (от латинского – *сопоставление*) – построение художественного произведения.

Конфли́кт (от латинского – *столкновение*) – столкновение, противоборство людей, которое содержится в сюжете литературного произведения.

Концо́вка – заключительная часть художественного произведения; в фольклоре – нередко устойчивая формула.

Кульмина́ция (от латинского – *вершина*) – элемент сюжета, высшее напряжение действия, решающее событие в художественном произведении.

Ли́рика (от греческого – *лира, музыкальный инструмент, под звуки которого исполнялись стихи, песни*) – род литературы, отражающий переживания, чувства и мысли автора в связи с жизненными впечатлениями, чаще всего в стихотворной форме.

Лири́ческая про́за – прозаическое произведение, передающее, главным образом, чувства и настроения автора.

Литерату́ра худо́жественная (от латинского – *буква, письменность*) – вид искусства, отличительной чертой которого является отражение действительности при помощи слова.

Лито́та (от греческого – *простота*) – художественное преуменьшение тех или иных качеств героя произведения.

Мета́фора (от греческого – *перенос*) – троп, неназванное

сходство одного предмета или явления с другим.

Миф (от греческого – *слово, речь*) – предание, передающее представление древних народов о происхождении мира.

Мифоло́гия – совокупность мифов, созданных народами мира; наука, изучающая мифы.

Моноло́г (от греческих – *один, слово*) – развёрнутое высказывание одного лица.

Олицетворе́ние – троп, перенос свойств человека на неодушевлённые предметы.

Описа́ние – представление о том, какие предметы, люди, животные изображены в произведении.

О́черк – эпический жанр, повествование в котором основано на подлинных фактах. Очерком может быть портрет, описание поездки, сценка, которую увидел автор.

Парадо́кс (от греческого – *неожиданный, странный*) – необычное событие или явление, которое противоречит общепринятым представлениям.

Пейза́ж (от французского – *местность, страна*) – в художественном произведении описание природы, которое помогает представить места, где происходят события, и лучше понять героев и их поступки.

Персона́ж (от латинского – *персона*) – действующее лицо художественного произведения.

Пе́сня (песнь) – 1) небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения, бывает фольклорная (народная) и авторская; 2) часть большого стихотворного произведения.

Повествова́ние – рассказ о событиях, действиях, поступках.

По́весть – эпический жанр; художественное произведение, в котором изображаются события, отражающие целый период в жизни героя.

Погово́рка – жанр фольклора, вошедшее в нашу речь меткое образное выражение.

Полило́г (от греческих – *много, слово*) – разговор нескольких лиц.

Портре́т (от французского – *изображение*) – описание внешности персонажа в литературном произведении.

Посло́вица – жанр фольклора, краткое изречение, в котором содержится законченная мысль, в художественной форме передающая оценку определённого явления, события.

Постоя́нный эпи́тет – троп, используемый в фольклоре, устойчивое определение какого-либо предмета.

При́тча – эпический жанр, на основе иносказания раскрывающий смысл какой-либо философской или нравственной проблемы.

Проло́г (от греческих – *перед, слово*) – вводная часть художественного произведения, содержащая рассказ о событиях, предшествовавших основному повествованию.

Прототи́п – реальное лицо, послужившее основой для создания образа героя произведения.

Псевдони́м (от греческих – *вымысел, ложь, имя*) – вымышленные имя и фамилия, которые заменяют подлинные.

Пье́са (от французского – *часть*) – общее название для драматических произведений: комедии, драмы, водевиля и др.

Развя́зка – элемент сюжета, заключительный момент в развитии действия художественного произведения.

Разме́р стихотво́рный – число и порядок чередования ударных и безударных слогов в стихе.

Расска́з – эпический жанр; художественное произведение небольшого размера, посвящённое обычно отдельному событию в жизни героя.

Рассужде́ние – последовательный ряд умозаключений о причинах явлений и событий, их взаимосвязи.

Рема́рка (от французского – *отмечать*) – авторские комментарии, замечания и рекомендации.

Ре́плика (от французского – *возражение*) – краткое высказывание в диалоге, беседе.

Реце́нзия (от латинского – *рассмотрение*) – отзыв о произведении, его письменная оценка.

Ритм стихотво́рный (от греческого – *такт*) – повторяемость чередующихся ударных и безударных слогов. Такое чередование придаёт стихотворной речи особую организованность, особое звучание. Ритм – основа стиха.

Рито́рический вопро́с – утверждение в виде вопроса.

Ри́фма (от греческого – *соразмерность*) – совпадение звуков в конце строк.

Рома́н – эпический жанр; художественное произведение, в котором принимают участие множество действующих лиц, жизненные явления и судьбы людей показаны в развитии.

Сати́ра (от латинского – насмешливый полубог древних греков) – вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий человеческие пороки.

Скази́тель – исполнитель былин.

Ска́зка – эпический жанр, художественное повествование фантастического характера. Сказки бывают *фольклорные* (народные) и *литературные* (авторские).

Сравне́ние – троп, определение одного предмета при помощи его сопоставления с другим.

Стих (от греческого – *ряд*) – 1) название стихотворной речи;

2) стихотворная строка.

Стихотворе́ние – лирический жанр, небольшое произведение, написанное в стихотворной форме.

Стопа́ – сочетание ударного слога с безударными в стихотворной строке.

Строфа́ (от греческого – *оборот*) – часть стихотворения, объединённая в единое целое ритмом, рифмой, содержанием.

Сюже́т (от французского – *предмет*) – основные события художественного повествования. Элементы сюжета – *завязка, развитие действия, кульминация* и *развязка*.

Те́ма (от греческого – *то, что положено в основу*) – круг жизненных явлений, которые отобрал писатель для своего произведения, то, что положено в основу художественного произведения.

Троп (от греческого – *оборот*) – употребление слова в переносном значении. К тропам относятся *метафора, эпитет, сравнение, ирония, аллегория, гипербола* и др.

Фанта́стика (от греческого – *воображение*) – мир причудливых образов, рождённых воображением на основе фактов реальной жизни.

Фолькло́р (от английского – *народная мудрость*) – устное народное творчество.

Фольклори́стика – наука, изучающая фольклор.

Фэ́нтези – один из видов эпических произведений, близких и к сказке и к научной фантастике, который появился и стал популярным в XX веке.

Хоре́й – двусложный стихотворный размер с ударением на первом слоге.

Худо́жественные сре́дства – приёмы, которые делают художественную речь ярче и выразительнее (см. **Троп**).

Часту́шка – жанр фольклора, короткая, обычно из четырёх строчек песенка – быстрый поэтический отклик на злободневные события.

Эзо́пов язы́к – язык, нарочито маскирующий подлинные мысли автора. По имени фригийского раба Эзопа, который считается создателем жанра басни.

Экраниза́ция – кино– или телефильм, созданный на основе художественного произведения.

Экспози́ция (от латинского – *изложение*) – описание места, обстановки, героев в начале произведения.

Эпизо́д (от греческого – *привходящий, посторонний*) – завершённая часть художественного произведения, в которой изображается законченное событие или важный в судьбе персонажа момент.

Эпило́г (от греческих – *после, слово*) – заключительная часть художественного произведения, в котором рассказывается, что произошло с героями после изображённых в произведении событий.

Эпи́тет (от греческого – *приложение*) – троп, слово, определяющее предмет или явление и подчёркивающее его качества, свойства, особенности.

Э́пос (от греческого – *слово*) – род литературы, в котором повествуется о событиях и героях. Среди трёх родов литературы (эпос, лирика, драма) именно эпос отличается наибольшей полнотой и подробностью изображения.

Эссе́ (от французского – *попытка, проба, очерк*) – литературное произведение небольшого объёма и свободной композиции, передающее личное отношение автора к предмету описания.

Ю́мор (от латинского – *влага*) – вид комического, добрая форма насмешки, где смешное высказывается с верой в добро и справедливость.

Ямб – двусложный стихотворный размер с ударением на втором слоге.

notes

Примечания

1

Господа (франц.).

женщиной, способной на что угодно (франц.).

на порядочных и непорядочных (франц.).

дурного вкуса (франц.).

5

«Я был очень порядочным человеком» (франц.).

6

Человек (др. – греч.).

7

«Истина в вине!» (лат.)